

П.Г. Рыков

САЛТЫН

(Текст романа публикуется в авторской редакции, с сохранением авторских орфографии и пунктуации)

Некоторые полагали, что Салтын - подлинно его имя.

Но нет имени Салтын у русских. А у каковских есть? Ни у каковских; Хоть украинцев возьмите, или татар, даже у евреев спроси и у степняков-кыргызцев, и у тех не найдёте. А его Салтын да Салтын. Он иногда откликался, когда его кто-нибудь эдак назовёт. Но чаще всего будто не слышал. Идёт мальчишечка по пристанционному посёлку; левой ногой ступит, правой подгребаёт. Здесь-то ему привольно, к нему привыкли. А если в райцентр пойти, то тамошних мальчишек, он приводит в исступление. Бегут за ним, кочевряжатся, языки высовывают. Могут запросто камнем лукнуть. А он идёт да идёт. Потому, что сегодня суббота и на базарчике завозный день, А раз так - может кой-что перепасть в самом конце торговли. Салтыну всё годно – хоть бы и мясные отонки, хоть бы крыхмочку чего-нибудь такого, что можно в рот положить. Дурак-то он, дурак, пацанчик ещё, а всё ж добытчик, материн помощник. Вот, и идёт. А коли, допекут его сорванцы, встанет, лицо у него как-то по-особому расправится, и даже густящие чёрные волосья вздыбятся. Он ощерится, и тогда видны плохо чищенные, с желтизной, клыки. Большущие, почти собачьи.

- Салтыын! - кричит он своим нутряным голосом, столь не соответствующим щуплому его тельцу, и мальчишкам становится жутковато. Кто-то из мимопроходящих взрослых шуганет стайку дразнильщиков. И Салтын опять продолжает путь, устремляя свой левый глаз вперед. А правый, на перекошенном его лице, вылезавший из орбиты, смотрит вбок, но, похоже, не видит. Хотя, как знать?! Его не спросишь – видит он этим глазом или не видит. А спросишь,

не ответит – никаких других слов, кроме слова Салтын, за ним не замечали. Так он шествует, подволакивая более короткую и несколько вывернутую правую ногу, оставляя в дорожной пыли след, словно охотничья лыжа прошла. Лицо его можно назвать и одухотворённым, такая в нём одержимость. Но... зелёно-серая сопля в ноздрю толщиной, почти постоянно - и зимой, и летом, нависающая над губой! Она то и отвращает иных от подаяния. Хотя кое-кто готов, при случае, помилосердствовать. Но перебороть тошноту не в силах и отворачиваются, завидев бредущего. Или же положат на придорожную траву пару картофелин. А Салтын когда возьмёт, а когда и мимо пройдёт. Их, убогих, не понять: бестолков ли, горд ли потайной, безумной своей гордостью, обуян ли некими высшими размышлениями – кто скажет? И кому задумывается о его мыслях? Кому печаловаться о нём? И о нём ли печаловаться, когда кругом послевоенная нищета, можно сказать, полуголод, хотя карточки на продукты питания Иосиф Виссарионович отменил, да толку – чуть. Есть люди и понужнее, чем пристанционный идиот. Такие, о ком слеза на глаза наворачивается сама собой - обрубки и ошмётки великой победы. Кое-кто из них вполне приголублен – хоть такой да вернулся. Хоть и полмужика, но мужик в доме. А кто-то и не нужен такой, бывшей жене в тягость. Она покржистее зацепила, пока муж после ранения в госпиталях ушивался. И плевать на осуждение соседское. Она всем напоказ развешивает на верёвке и прищепками прихватывает стиранное новомужнино исподнее: кальсоны солдатские с завязочками и рубахи такие же форменные. Натё вам, товарочки; у меня не только штаны мужеские в доме, но и то, что в штанах - тоже моё. И не зарьтесь! Глаза повыцарапаю.

А Салтын той порою бредёт к базарчику. Но сегодня день неудачный. Ничегошеньки не подадут существенного. Если не считать стаканчика махонького жареных семечек. Стаканчик и не стаканчик вовсе, а всего лишь стопочка. Стограммовочка граненая, если водку наливать. И то ладно. Баба Фрося скручивает кулёк из старой газеты. Сыплет семечки. Подумавши чуть, добавляет полстопочки и кладёт подаяние в самшитую торбу, что висит у Салтына через плечо на

длинной лямке. И крестится. И Салтына крестит. Авось, зачтётся на Страшном Суде. Там любая малость - в счёт.

Теперь надо возвращаться домой, в пристанционный посёлочек. Дорога известная. Назад он бредёт не посреди дороги, а ближе к домам. Вдруг кто-то смилостивится. Бывает же всякое! На крыльце дома с крепкими крашеными ставнями стоит дядя Яша с базы потребсоюза. Он в гимнастёрке, утянут командирским ремнём так, что пузцо сверх ремня выпирает, словно перестоявшее тесто из корчаги. Салтын замедляет ход.

- Проходи! Проходи! – вскрикивает дядя Яша. Он убогих сторонится и верит, что от них самый сглаз. – Узы его! – командует он двум медеянским кобелям, лежащим в палисаднике. Кобели страшные, зубатые, брехливые и охочие до косточек. Они подскакивают, взрываются и бросаются вперёд. Салтын подходит к палисаднику, просовывает руку между штакетин, и безумствовавшие, было, псы начинают тыкаться носами в руку побирушки. А он присаживается, и прижимается лицом к штакетинам, и собаки норовят вылизать ему лицо. Дядя Яша визжит и топает ногами: «Узы его! Узы!». А толку чуть. Собаки лапятся к Салтыну, хвосты безостановочно выражают собачью приязнь – того и гляди, оторвутся. Это ли не сглаз! Салтына вообще все собаки любят. Ни одна не бросится. Что-то они в нём такое чуют, такое, такое... А какое? Поди, их собак, разбери.

Теперь до пристанционного посёлочка, обсевшего полукругом красное двухэтажное деревянное здание вокзала и красную же кирпичную водонапорную башню, рукой подать. Тут проживают люди иного склада, чем в райцентре. Они – пристанционные, рабочий класс. С паспортами. Не какая-нибудь деревенщина беспаспортная. Путейцы, обходчики вагонов, которых иначе чем с молотком на длинной ручке представить невозможно, стрелочники, водопроводчики, обслуживающие башню. А те, кто за путями следит! А семафоры! Чуть не забыл про семафоры! Тоже требуют обслуги. Их два: на входе и на выходе со станции. Станция-то серьёзная. На всех железнодорожных схемах всего Союза Советских Социалистических Республик обозначена, правда, мелкими буквами: ГОРЕЛЫЙ ЯМ. Название

историческое. Некогда, в дожелезнодорожную пору здесь пролегал почтовый тракт. Говорят, какой-то царь и даже сам Пушкин по нему проезжали. И стояла почтовая станция, где, по-обыкновенному, гуртовались ямщики. Оттого и Ям – становище ямщицкое. Как-то, во время пугачёвщины, либо иные лихие времена, станцию сожгли. Дотла сгорела. Потом, конечно, отстроили, но прозвище прилипло, прижилось. А когда тянули рельсы, название оставили прежнее. Так появилась станция железной дороги. Не какой-нибудь номерной разъезд. Целых три пути. Перрон. Так что, если придётся, может и курьерский принять и обслужить. Перрон, конечно, для классных, цельнометаллических вагонов. Выходите, граждане пассажиры, промните ножки. А те, кто из общих вагонов для простецкого люда, на землю прямиком спрыгнут, и поспедают с чайниками да котелками к будочке, на которой красным по белому казённым шрифтом с дореволюционных ещё времён кирпичами выложено: «КИПЯТОКЪ». И, правда, из стены торчат два крана. Один – горячий. А другой, как водится, холодный – прямиком из скважины вода. Вкуснющая! С чётной стороны, перед выходной стрелкой – пузатый, приземистый пакгауз, куда сваливают из почтового вагона всяческие грузы и корреспонденцию в плотных брезентовых мешках. Но, курьерские поезда станцию минуют без остановки. Паровозы у них «ФД». Хыкают мощно и часто, издалека гордо порёвывая, чтобы никто поперёк пути не встал. Другое дело – грузовые да пассажирские и местный, наречённый «Барыгой». Этот – не заносятся. Стоянка, граждане пассажиры, двадцать минут. Причина в локомотиве. Паровоз серии «Ов» – в просторечии «овечка» - отцепляется от состава и, задышливо попыхивая, подкатывает к брезентовому рукаву, свисающему с крана водокачки. Помощник машиниста лезет в тендер, открывает люк и направляет рукав в горловину. Потом кричит: «Гриша, давай»! . Водяной бог крутит штурвал, и вода начинает рушиться вниз.

- Свежая сегодня? – С нарочитой строгостью спрашивает машинист Михал Фокеич у водяного Гриши, высовываясь из окошка паровозной будки.

- Ха-ха-ха! – смеётся привычной шутке Водяной.

Вода на станции действительно хороша: мягкая, даже сладкая. Та, что паровозу нужнее нужного, чтобы трубы в котле не известковались. Умели же найти воду прежние инженеры – дорога-то при царе-батюшке прокладывалась. А в райцентре жестковата водичка. Кое-кто из райцентровских приезжает на бричке набрать воды, жене голову помыть. Всем не позволяют. Но Марье Михайловне – первой красавице района, жене председателя исполкома не угодить – грех. Хотя, станционные местной власти не подотчётны.

Михал Фокеич Салтына привечает. Позволяет в будку залезть. В будке тепло, особенно когда по команде машиниста раскрывается топка, и кочегар дядя Саша начинает подбрасывать уголёк в ненасытную пасть. Салтына непременно угощают чаем и варёной картошкой, к которой полагается не сильно толстый, но и не совсем прозрачный ломтик сала, пахнущего чесноком. Салтын прожёвывает сало жадно, обжигается картофелиной, поспешает, потому что, как только вода прекратит литься, надо спускаться на землю. Слез. Михал Фокеич даёт гудок, толкает рычаг реверса, и машина, проворачивая дышлами колёса, пыхнет паром, дерганёт вагоны и отправится в дальнейший путь. Теперь можно домой. А дом тут же рядом. На нём-то и красуется надпись «Кипяток». Дом – это, конечно, сильно сказано – скорее закуток. Но с печкой. И лежанка впритирку к печке есть. Значит, жить можно. А в доме – мама. Она поддерживает огонь под кубом, в котором аккуратно к приходу поезда начинает колготиться закипающая вода – и это мамина основная работа. А ещё на ней забота о чистоте в здании вокзала, и ещё вменена обязанность по уходу за пристанционным нужником на два очка. Дел много – знай, проворачивайся. Маму все на станции зовут Надюшкой. Но имя мамино Салтыну не одолеть. И даже простое слово «мама» не по силам. А ей и не надо, чтобы называл по имени. Тем более, имя это – не её. Она обнимет, гладит проволочные его вихры. А он прижмётся крепко-накрепко и дышит громко, а потом тише и тише, словно выдыхает обидные кривляния мальчишек и дорогу от станции до райцентра, что для него, колченогого совсем не просто – словом, все тяготы дня минувшего. Мама – и толечко она – знает настоящее салтыново имя. Она смотрит на

него уснувшего и шепчет, и молится: «Господи, Божечка ты мой! Пошли Богданчику немного жизни ещё. Ну, хоть капельку. И меня помилуй, грешную». И никогда ничего другого не просит. Потому что знает: всё у неё есть.

А той порою на станцию Горелый Ям надвигалось важное и грозное событие. У Дороги поменялся Начальник. Прежний, проработавший всю войну, имевший три благодарности от Сталина, заболел, заболел и скопытился. Новый был переведён с повышением откуда-то из Сибири. Поговаривали, что характером крут, въедлив и неумолим. Лично объезжал Дорогу: все станции, полустанки и даже разъезды. Прибывал как бы внезапно. Во всё вникал и устраивал, по его выражению, «чистку ПУТЯ от заносов». Тем более, при желании да глядячи пристрастным оком, всегда можно где угодно найти что угодно, и почистить эти самые ПУТЯ. О столь знаменательном событии Мартемьян Егорович – начальник станции был извещён заранее. Надо срочно наводить полный ахтунг, как он любил говаривать, почему-то по-немецки. Первое дело – привести в порядок форменный путейский мундир с узенькими железнодорожными серебряными погонами. Пуговицы должны – так он говаривал – блестеть, как яйца у кота. Второе – отмарафетить, чтобы ни пылинки, аспидно-чёрный бюст товарища генералиссимуса Сталина, стоящий в зале ожидания. Третье – навести блеск на колокол, что висит при входе в станционное здание, и подаёт тройной сигнал отправления поездам. И, конечно же, отдраить кабинет Начстанции, что на втором этаже, помещение станционного телеграфиста, комнату дежурных по станции, кассу, а также кондей с торца здания, в котором размещаются станционный милиционер Кафтанов Пал Петрович и его подчасок. И, всенепременнейше, зал ожидания. Про путевое и стрелочное хозяйство и говорить нечего. Словом, всё должно воссиять, как положено в стране, недавно победившей фашистскую гадину – такое указание дал человек из Управления Дороги, который предваряя внезапный визит нового Начальника, объезжал станции. И поскольку до внезапного визита оставалось почти двое суток, если считать по-московскому, как принято у железнодорожников, времени, то всё можно успеть. И даже нужник на два очка

привести в состояние невероятное по санитарному состоянию – а вдруг приспичит начальству! Не поведёшь же НАЧДОРа в засратое, прошу прощения, помещение. И посему решено: отмыть нужник, обработать хлоркой до онемения носа, соскрести рисунки, запечатлевшие гнусные подробности сношений между мужчиной и женщиной, и дверь забить гвоздями до прибытия и убытия Литерного поезда с начальством, чтобы какие-либо залётные по русскому обыновению не напакостничали. А, кого если приневолит – там, за пакгаузом лесопосадка и лопушки. Да! Чуть ни забыл: рукав-свес на водокачке, заправляющей паровозы водой, надо бы заменить – больно дран. Но, с другой стороны, нового брезента нет – такая незадача! Хотя, за это отвечает не он, Мартемьян Егорович, а дистанция водоснабжения. Вот пусть и отвечает!

Однако, с самого утра томила Мартемьяна Егоровича контузия. Долбануло его в Польше знатно. Заняты они были перешивкой пути под русскую колею. И немца-то, вроде, рядом не было. Вдоль пути лес ими же и повырублен. А дальше чертолесье – в него и не совались. И вдруг кто-то, скорее всего, сукины дети-поляки, АКовцы - союзники херовы саданули из миномёта. Мина взорвалась рядышком и на неделю отшибла речь. Само ранение пустяковое: посекло левую бровь, и посеичас шрам видно. А по мозгам ударило крепко. В госпиталь он не поехал, отлежался в вагоне. Целый день лежал в лёжку. А на следующий день встал – службу нести надо, а не залёживаться. В ушах шмели гудом гудели. Покачивало, слышал, как через два ватника. Но, командовал, руками водил. Речь, как говорится, ползком, но вернулась. Бровь зажила. А голова продолжала мозжить. Потом и голова прошла. Да не совсем. Как чуть что, особенно к перемене ветров – и вступает. Вот и сейчас замозжило. Все, кто знал его, замечали: Мартемьян Егорович иной раз лицом темнеет, морщится. В силу этого и почитали его за человека свирепого и взыскивающего. И удивляться тут нечему: какой начальник, если не взыскивает и не сводит при этом брови для пущей острастки.

- Путя сообщения – дело прямое! – любил повторять вечный выступальщик на профсоюзных собраниях лысый, как

бабушкино колено, путевой обходчик Паламарчук - А по-другому низ-зя!. - И взмахивал рукой, словно топором рубил. – По-другому - крушение состава.

Но не о свирепости Мартемьяна Егоровича и не об остратке шла речь. Просто та давняя беда вдруг давала о себе знать. А когда что-то ещё терзает, поневоле и нахмуришься. Вот и сейчас...

Задумался и милиционер Пал Петрович Кафтанов, хотя у него с головою всё было в порядке. Да так напряг ум, что показалось ему, что голова вспухла. Даже кубанку с головы снял форменную с малиновым верхом, чтобы не давила. И даже пот вытер со лба, хотя сроду не потел. Ему также было доведено, что в Литерном прибудет линейное милицейское начальство. Но ему-то бояться нечего; Порядок на станции он обеспечивал наижелезнейший. Лишний народ не хамничал на перроне. Попробуй тут, когда выходит он из своего кабинета, позвякивая сапогами, придерживая левой ремень с бляхой, сияющей даже в пасмурный день, а правой – оглаживая усы, которым мог бы позавидовать сам Маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный, доведись Маршалу побывать в Горелом Яме и сравнить свои усы с кафтановскими. Важнеющие, скажу вам, усы. По всей дороге от Бреста до Владивостока, и обратно следуя, не найти таких. Когда Кафтанов выходит на перрон во время следования мимо курьерского, некоторые пассажиры, кто не в первый раз проезжают мимо Горелого Яма, специально приникают к вагонным окнам, чтобы увидеть его усы. Скорость хода велика. Усы мелькнут и пропали. Но, сам вид и незыблемость железнодорожного милиционера и его усов вселяют долго сохраняющуюся надежду на незыблемость мироустройства. Что уж тут говорить о тех. кому судьбою предписано передвигаться в «Барыге»! И уж совсем умолчим о тех. кто вздумал проехать на тормозной площадке, или укрыться в порожняке товарного состава, и дожидающегося освобождения перегона. Каким-то, ему самому неведомым образом, Пал Петрович Кафтанов вдруг всё пронизает, переходит пути, дабы оказаться именно у того пульмана, в котором таится тот, кого нужно извлечь наружу, привести в трепет, а при необходимости и в содрогание. А затем

препроводить куда следует. И тут бы можно было поставить точку, если бы не Точила. Она была попервоначалу Тонечкой, веточкой, которую переломить ничего не стоило при его-то стати. Но потом свелась до Тончи. А в последние годы превратилась в Точилу. Это на перроне Пал Петрович был и молнией и громом. Дома, когда вся его доблесть занимала подобающее место в углу, рядом со шваброй, ремень с портупеей и наганом в кобуре оказывался на вешалке, а форма отправлялась в шкаф, из которого, при открытии дверцы, вырывался нафталиновый дух, напоминавший, что пред молью беззащитно даже милицейское сукно. Тут бравый милиционер превращался в вечно тупой кухонный нож, которым и капусты не нашинкуешь для щей. И Точила начинала вращаться. Пайка милицейского, которому любая другая нормальная жена обзавидовалась бы, ей мало. Гудки паровозные все нервы прогудели. Начальник станции – сквернослов, каких свет белый не видел – слова не ругательного от него не дождёшься. Кассирше Лядовой буквы «Б» в фамилии не хватает. Мух столько, что рта не раскрыть, чтобы с соседкою перемолвиться. А ты!!! Собрался всю жизнь на перроне столбом раскрашенным стоять?! И напоследок: чего ты на меня хер вытарацил, мусор привокзальный?! Да он и сам считал, что давно пора и в звании расти, и место службы менять с повышением и погон красный с т-образной старшинской нашивкой также менять на серебряного шитья офицерский. А к такому погону с одним просветом полагается одна звёздочка. И ничего, что такой погон у младшего лейтенанта, а он, Кафтанов по возрасту и выслуге мог бы уже и капитаном быть. Как говорится, всякому овощу своё время. А он своё дождётся. Но как? Просто ждать? Единственно – суметь отличиться. Однако, по станции Горелый Ям настоящие поводы для отличия проносились мимо в вагонах курьерского... Там, за бордовыми занавесками в окнах вагон-ресторана ехали, среди прочих, почавкивая, расхитители соцсобственности., нарушители паспортного режима, притоносодержатели, карточные шулеры, спекулянты – страшно вымолвить - валютой и товарами повышенного спроса. И, вполне возможно, агенты бывших союзников, а теперь вражеских государств. Да и просто те, что местом своим

мягким - вымоленным, выслуженным, выподлюченным до-рожат, а потому всякого человека в форме чтут из предварительных соображений. Едут, сволочи, «Казбек» покури-вают, бештекст едят. Он их всех насквозь видел. Насквозь и даже на два метра в землю под ними. Помнится, однажды курьерский остановился из-за сбоя на перегоне. И сошел на перрон один в пейжаме полосатой, шёлковой. Сошел и обра-щается к нему, Пал Петровичу Кафтанову, при исполнении служебных обязанностей пребывающему: « Скажите, пожалуйста, а кугочек вагёных здесь газве не выносят к по-езду»? Курочки ему захотелось... Ишь! Но тот, в пейжаме, как только взгляделся в откровенное лицо, в усы кафтанов-ские, шементам заскочил опять к себе в мягкий вагон и плюх на пружинный диван. Таких надо бы брать. Брать и брать... А здесь? Воришки мелкие да толпа при посадке в «Барыгу». Плюнуть-то и то жалко. Потому как, если даже в масштабе станции плевать – слюны не напасёшься.

Вот с такими-то невесёлыми мыслями двинулся бравый милиционер Кафтанов домой, ко щам. Хоть и бранилась То-чила непрестанно, но щи варить была мастерица. Знатные варивала она щи. И такая приятность ощущалась и от этих её забот, и от шума разъярённого примуса, на котором щи klokотали, от духа капустного, чесночного, картофельного, от мясного навара - в нём-то вся овощная шатия-братия и уваривалась. А ещё, чуть ни забыл, лаврушечка, именно лаврушечка! В Горелом Яме лавровый лист купить было не-реально. В Райцентре также. Эту, можно сказать, драгоцен-ность товарищ милиционер Кафтанов приобретал, когда по вызову начальства выезжал в область. Там, на базаре носатые ухари продавали лавровый лист, заранее расфасованный в бумажные кулёчки, свёрнутые из читанных газет. Итак, сле-дует милиционер Кафтанов домой, заранее предвкушая, как он войдёт в казенную свою квартиру и начнёт снимать са-поги, пока Точила накрывает на стол. Сапоги у него – загля-денье. Товар на них пошёл комсоставский. По ноге тачены. Головки чуть заужены, союзки – обливной крой, голенища обхватывают икры плотно, но бережно, и всегда самолично им же, начищены так, что перед ними бриться можно. А уж подошва! Сапожник Иван Петрович, тачавший это чудо,

хоть и был обычно пьян, именно как сапожник, то есть, вполпьяна, но ремесла не пропивал, сталбыть, великий мастерище. Он уверял, будто подмётки ленд-лизовские, американские и сноса им не будет ни при каких перепИтиях. А каблуки у сапог наборные и подкованы аккуратненькими такими подковками. Поэтому каждый шаг милиционера Кафтанова по грешной земле слышен и внушительен, как это положено при его должности. Так вот: как бы ни были хороши сапоги, особое блаженство - совлечь их с ноги, размотать портянки и вольно пошевелить пальцами ног. Только тот, кто большую часть жизненного пути одолевает в казённых сапогах да по команде вышестоящих, по-настоящему может ощутить ликование свободы, пронизывающее сперва пальцы от мизинца до большого, а потом овладевающее всем человека, начиная с пальцев ног до самой до макушки. Великая вещь – свобода!

Ещё не свернув за угол к дому, услышал Кафтанов рёв. Знакомый рёв. Именно так, по-паровозному мог реветь только Тимофей Павлович Кафтанов – единственный и до дрожи любимый его сын. Именно он и ревел, стоя перед домом с большим ломтем хлеба, щедро намазанным жёлтым маслом и посыпанным сахаром-песком. Любила Точила снаряжать такое лакомство и с ним в руках выпускать сына на улицу – пусть все видят, как сытно живёт семья милиционера Кафтанова. Спрашивается: и чего бы ему реветь, при такой-то благодати в руках? А всё потому, что перед Николаем Павловичем стоял этот клятый побирушка, урод несуразный со своею вечной зелёной соплицей. Отнять хлеб Салтын не пытался и руки даже не протягивал. Он просто смотрел. А поскольку косоглаз – неясно, куда он зенки свои лупит: на хлеб ли с маслом и сахаром, на Николая ли Павловича. Конечно, можно бы повернуться и уйти вместе с лакомством в дом. Но что-то завораживающее было во взгляде его, некая непонятная сила, которую ощущали и многие взрослые. Чужая её всем своим малым ещё естественным, милицейский сын понимал, что надо повернуться - и к мамке, чтобы не делиться. А то, что Салтын жаждал дележа, было ясно и безо всяких слов и жестов. Если не за дележом, то зачем пялиться? Но мамка строго-настрого наказала:

откусывать не давать. Так уж было заведено в семье у Кафтановых – не позволять откусывать. Жили своим домком: ни они - ни к кому, ни к ним - никто. И по -иному никак из-за служебного значения хозяина семьи. А тут Салтын! Поэтому-то и ревел Кафтанов-младший от полной безысходности. Кафтанов-старший сразу же, по-милицейски чётко ухватил и оценил сложившуюся ситуацию:

- Пошёл отсюда! – Не шибко громко, но вполне повелительно скомандовал он Салтыну тем самым манером, как обычно говаривал, гоня всякую шелупонь, норотившую без перронного билета пройтись этаким гоголем с неизвестно какими целями по перрону. Надо сказать, и от этой правды никуда не денешься, Салтын, не боявшийся самых лютых псов, людей в форме боялся. Завидев и слышав Павла Петровича, он враз будто съёжился и побежал прочь, если только можно назвать бегом это шкандыбание.

- Давай, давай, сучонок! – напутствовал его, но уже не милицейским, а вполне обычным и даже несколько отеческим голосом Кафтанов-старший. – Ноги чтоб твоей здесь больше не было.

Он погладил по голове любимого-разлюбимого Кафтанова-младшего, замолчавшего, как только отец возник из-за угла, но теперь безо всякого показного наслаждения в два приёма умявшего ломоть умасленного хлеба, и улащённого промаслившимся же сахарным песком. Прогнал - и вся недолга. Теперь можно снимать сапоги, рассупонивать ремень с портупеей, и ко щам. А там и вздремнуть часика полтора, чтобы со свежими силами отправиться к месту несения службы на станцию Горелый Ям, как раз к приходу «Барыги».

В Салтын? А что Салтын? Бежит – правой ногой подгребают. Смехота! Кафтанов младший и загыгыкал вослед. И страшно ему, и смешно, но и жалко уродца. Откуда в нём эта жалостливость – Пал Петрович не понимал. Вроде, никого в роду такого не было, разве через Точилу эта мокрядь в наследство досталась от бабки-богомолки. Однако, слёзки пролились, но повысохли вскоре. Салтын, отбежав, сменил аллюр и уж теперь идёт, но гримаса ужаса всё ещё видна на его перекоsobоченом лице. Понял ли он сказанное? Или

только интонацию уловил грозную? Он разве расскажет. У него и слов таких нет, чтобы рассказать связно. Да и бессвязным речам он не обучен: только: Ы да Ы!. Но бежал он не от крика. Крики ему нипочём. Бежал от запаха. Нос у Салтына замысловато устроен; если правая ноздря забита соплём, то левой различает он запахи предоскональнейше, как пёс. Он собак и весь мир узнаёт по запаху. Встретится пёс и изда- лека ещё начинает унюхивать, кто да что. Салтын тоже ню- хает. Им обоим сразу ясно, что можно пройти и обиды избе- жать. Иной раз оба встанут и обнюхают друг дружку, как это у собак принято. И бессловесно, по запаху понятно обоим: пройтись ли вместе или каждому по своим делам поспешать. Ещё он знал, что если пописать на угол дома или кустик, то собаке такой запах понятен и означает: «Нельзя». Салтын оставлял следы вокруг будки, в которой ютились они с ма- мой, и собаки это понимали и к будке не подходили: «Раз нельзя – значит, нельзя» Салтын и по улицам идет от запаха к запаху. Дома тоже по-разному пахнут. Есть такие, возле которых хочется постоять, повдыхать, чужим счастьем пола- комиться. А есть такие, от которых, когда ни подойди, жа- реной на сале картошкой напихивает, но всё равно нечто не- ладное таится в запахе, домом источаемым. Про людей и говорить не приходится. Все, конечно же, пахнут прежде всего своим телом. Но ещё и разными разностями, которыми занимаются У милиционера Кафтанова голос хоть и гром- кий, но без особой опоры на злобу. Есть куда злее люди, от которых злобой прямо-таки разит, например, Ильдус – кла- довщик в пакгаузе. И не голосом Кафтанов страшен Сал- тыну. На поясе у него кожаная кобура, а ней то, чего надо бояться. Хорошо, слишком хорошо знал Салтын эту смесь запахов кожи, металла и стреляного пороха, хотя милицио- нер Кафтанов усердно чистил и смазывал свой наган, приго- варивая: «Женщина любит ласку, а оружие смазку». Но за- пах смерти никогда до конца не выветривается, чтоб вы знали.

Пока Салтын шкандыбал, Кафтанов снял сапоги, поты- кал ладонью в пипочку рукомойника, намылил мокрые ла- дони, смыл мыло, уселся за стол, и Точила выставила перед ним миску долгожданных щей. Тут он позабыл всё на свете

и в первую очередь Салтына. Ухватил деревянную ложку, подцепил жижицы с толикой хорошо уварившейся кислой капусты, поднёс вожаделенное варево ко рту, ощущая, как тот вмиг наполняется слюной. И вспомнил! И кого бы вы думали? Салтына вспомнил. Вспомнил и даже ложку вновь опустил в тарелку. У Точилы, присевшей, как она говорила, насупротив, и ожидавшей привычной, но оттого не менее приятной похвалы, даже сердце ёкнуло. Она, было, хотела вопрос задать, но увидела, что лицо Пал Петровича приняло табельное выражение, что случилось с ним в домашней обстановке крайне редко. Например, с полгода назад, когда с «Барыги» её ненаглядный снимал одного особо опасного преступника, вооруженного двумя финками и пистолетом «Вальтер». И следовал тот ухарь не один, а с марухой, норвившей вцепиться и расцарапать лицо милиционеру Кафтанову. Но обошлось без стрельбы и поножовщины – такова сила авторитета усача, о котором слава по всей Дороге шла, и даже в далёкой Караганде на шахте один зэка хвастал другому, что не просто так, а только перед самым усатым устоять не смог. И слушающие понимающе покивывали головами. В самом деле, есть сила, которая и солому ломит.

А Салтын вспомнился вот почему; Как-то раз билетная кассирша Лядова, как бы невзначай, обмолвилась, что девка эта, что с сынком своим кривомордым у воды пригрелась, совсем не та, за которую себя выдаёт. Тогда Кафтанов не придавал значения лядским словам, зная, что кассирша - баба завидующая и злокозненная. Она подбивала клинья под Мартемьяна Егоровича – фронтовика, мужчину видного, но одинокого. Мартемьян Егорович же, как на грех, любил лично контролировать процесс мытья полов в зале ожидания. А полы-то мыла Надюшка – салтынова мать. Она только с вида обсосочек. А когда нагнётся с тряпкой – видно, что попа у неё луковкой. Ей, Лядовой, через кассовое окошко всё видно. Всё! И уж совсем она изнывала, когда Надюшка поднималась на второй этаж мыть полы и вытирать пыль в кабинете Начстанции и телеграфиста. Что там могло происходить, Лядовой с избытком хватало воображения чтобы вообразить всё. что угодно во всех подробностях. От женской нестерпимости войлочная подстилка на табуретке, которую

подкладывала Лядова, чтобы мягче сиделось, в эти моменты делалась прямо-таки горячей. Думала думку кассирша Лядова, как соперницу извести. А как её изведёшь? Печь у неё топится, кипятик, согласно расписанию, клокочет. Тряпки половые от мойки до мойки прополаскиваются и сушатся. А зимой их можно ломать – до того вымерзают. Ходит уборщица, глаза потупивши, платок по-старушечьи повязавши. Кто из женщин в бане с ней оказывался, рассказывал, что тощая она до того, что даже нельзя и сказать, что кожа да кости. Титочки девчачьи, одни соски торчком. Но волосы, сказывают, расчудесные. Она пока их разберёт, вымоет, выполощет да расчешет – товарки уж и одеться успели. Вот и все прелести! Другое дело она, Лядова – одно слово, пампушечка. Но волосы... Реденькие они от рождения и ломкие, сколько ни начёсывай – вот и не задалась жизнь! Ой, как не задалась! Её суженного, на которого ещё до войны заглядывалась, смерть храбрых настигла в Манчжурии. А здесь, в Горелом Яме кого найдёшь, когда мужчины наперечёт, а проезжающие видят её в полгруды через махонькое окошко, да к тому ж, решёткой забранное. И полюбовника не заведёшь в этакой глухомани, где вся жизнь – сквозняк. Ям и есть Ям – глухомань, тягота женскому естеству. Однажды Лядова слышала, как Надюшка, мывши полы и протирая от пыли сталинский бюст, напевала что-то. И слышалось, не по-русски. Интересно! Надо бы вслушаться, а тут, как назло, пришли за билетами заготовители: загалдели, заматюкались. Так и не смогла Лядова понять, по-каковски Надюшка напевала. Да и замолчала она, когда заготовители перед кассой топтаться начали, да шуточки матерные пускать. Но запомнила-таки, и с Кафтановым свидетельством своим поделилась. А тот хмыкнул, усы поправил и говорит:

- Дрожжи у тебя, Лядова, дюже хорошие!

- В каком это смысле вы мне такое говорите, товарищ Кафтанов?

А он в ответ ничего не сказал, только глазами, жеребец стоялый, на грудь лядовскую повёл, усы поправил и прикашлянул при этом.

А теперь тот разговор вспомнился: вдруг она взаправду не нашенская? Прибыла-то с запада, со стороны бывших

оккупированных территорий, тайком, в эшелоне с битым военным железом, направлявшимся на переплавку, и пацанчика своего кривоморденького привезла. Он тогда их пожалел: дело к холодам шло, а они раздетые и разутые. Были у неё и документы – справки какие-то измятые, но с печатями о том, что она сколько-то раз добровольно сдавала кровь для раненых бойцов Красной Армии. Хотя откуда в ней, такой обглоданной, лишняя кровь? Конечно, доля его вины в тогдашней жалости просматривается, если она не та, за которую себя выдаёт. И с него взыщется за потерю бдительности. Тем более, эта Лядова не преминет воспользоваться моментом и по начальству доложит. И тогда спрос с товарища Кафтанова вдвойне и втройне. Так и места службы можно в одночасье лишиться. Но, если он сам проявит, хотя и запоздалую, но бдительность, тогда совсем по-иному можно посмотреть. Мол, сразу не реагировал, потому что выслеживал. Тогда успех по службе. Тогда лычку в петличку. Тогда и о передвижении по службе мечтать не возбраняется. Тогда старшинскую Т-образную нашивку на погоне вполне возможно сменить на офицерский с одним просветом и одной звёздочкой. А это уже совсем иная жизнь. Лейтенантская. И довольствие совсем иное, уже комсоставское, и Точила поумерится. И заживут они... Но уже в другом месте. Например, на узловой станции Тузлучная. Если, конечно, Надюшка (или как её там) из водогрейной, из тех, которые... И наскоро проглотив настряпанное, и не поблагодарив, чем немало уязвил жену, он, проверив идеальное состояние усов, отправился к месту службы, хотя мог бы и вздремнуть часа полтора.

Салтын той порою спал, натоптавшись с утра. Что ему снилось, если снилось, неведомо никому. А мать его навела лоск в комнате телеграфиста Мышкина – неряхи несусветного, у которого весь пол был усыпан махорочным пеплом. Курец неутомимейший этот Мышкин и кашляльщик, хотя от курения у него начинали неметь ноги, и врач Шварцман из дорожной поликлиники посулил скорую ампутацию. А когда принимался Мышкин кашлять, кто был на перроне

в этот момент, оглядывались на окно второго этажа, где располагалась комната связи.

Она вспомнила, что о. Гавриил тоже был занятым курильщиком. Только самокруток он, подобно Мышкину, не сворачивал. И курил не махру, но какой-то иноземный табак из пачек плотной бумаги, обёрнутых бандеролью с нарисованной на ней сургучной печатью. Вечерами, промолвив; «Прости, Господи, грехи мои тяжкие», он доставал коробку с папиросными гильзами и приспособления для набивки: металлическую трубочку-державку и деревянный пестик, чтобы уминать табак в папиросе. А табак он загодя высыпал из пачки в железную коробку, на которой было написано «Жоржъ Борманъ». Туда же о. Гавриил сыпал мелко крошеную смесь каких-то трав и капал нечто из бутылки тёмного стекла. Оттого дым становился ароматным и Гликерия (тогда её звали этим именем) любила вдыхать этот дым. Ей представлялось: так благоухают иные места, волшебные страны, где её с её бедами никто не знает, и в странах этих вообще не случается бед. С той поры прошло уже много дней и на неё обрушилось столько бед, что и сами воспоминания об о. Гаврииле, семилинейной керосиновой лампе со стеклянным абажуром, ловких пальцах, управлявшихся с гильзами и табаком, и добром голосе священника казались чем-то невозможным. Тем, чего никогда не было и не могло быть. Больше всего на свете ей хотелось, чтобы ничего и не было. И воспоминаний этих тоже бы не было. Чтобы можно было бы смахнуть накопленное в памяти, смыть, как смывается махорочный пепел, а тряпку, вобравшую этот пепел, хорошенечко прополоснуть в воде, сразу же помутневшей от грязи, а потом отжать крепко-накрепко. И всё. Всё! И она навек остаётся Надюшкой – тихой, неприметной, работающей, ни на что не претендующей, кроме ставшего привычным закутка в водогрейной, где они обрели покой с Богданчиком, Богдашкой-таракашкой. Она и только она знала, что сына зовут Богданом, а никаким не Салтыном. «Господи Иисусе Христе, сыне Божий! Буди милостив мне, грешной» - повторила она, но не вслух, молитву, которой научил её о. Гавриил прежде всех прочих молитв.

Она домыла комнату под стрёкот телеграфного аппарата, испещрявшего длинную узкую ленту буквами и циферками, и спустилась вниз вылить грязную воду из ведра. А навстречу собственной персоной кассирша Лядова, возвращается с обеда. Завидевши Надюшку с ведром, встала:

- Полное несешь?

- Полное, полное...

- А то давеча попалась мне с пустым, так меня вечером икота замучила. Так всю ночь и проикала.

Ишь, пустого ведра боится, а у самой глаза ведьмины. Сроду не улыбнётся, только зырк, да зырк. На людей смотрит, как деньги пересчитывает, словно боится на сдачу лишнего дать. Ну, да Бог ей судья. Не до неё. Впереди дело не такое противное, как кассиршины речи слушать. Впереди - уборную отскребать-отмывать. Дощатое это строение над выгребной ямой располагалось обочь вокзала справа, но чуть поодаль. Крашено всё той же коричневой краской, что и вся железная дорога. Кстати, вагоны-пульманы тем же цветом красят. Словом, издалека видно, что это – не просто так, а имущество министерства путей сообщения – только эмблемы МПСовской нет. А посему и порядок снаружи и внутри должен соблюдаться, как на путях сообщения. Но, пособлюдай тут порядок, когда некоторые так и норовят мимо дыры нужду справить. Уж чего, кажется, проще, а всё равно ходят мимо, да ещё и «запятые» на стенах оставляют, пальцы очищая после подтирания. Но пуще всего не любила она похабные рисунки и надписи.

Сразу ей привиделся господин Мирча – управляющий господским именем и всё, чем он стал памятен: и сильными пальцами с выпуклыми толстыми, грязными ногтями, и смесью запахов табачного перегара от вислых усов, свежесъеденного чеснока, и кислой отрыжкой красного вина, которое он почти непрерывно прихлёбывал из стеклянной, оплетённой фляжки, висевшей у него на плече на длинном ремешке, и, тем более, всем остальным – самым страшным и противным. Она всегда боялась его глаз навывкате. Мирча смотрел на неё внимательно и насмешливо, пока она подрастала. А

потом настал момент, когда он посмотрел на неё не так, как обычно, но как-то по-иному. И она поняла, неизвестно почему, что теперь ей не сдобровать. Тётка Параска, с которой Гликерия жила из милости, учила всегда низко кланяться господину Мирче и тем паче барину, если тот соблаговолит приехать к себе в имение из далёкого и блистательного Бухареста. Но барин не ехал, а Мирча - вот он, тут. И она – послушная девочка – низко кланялась господину Мирче. А он в ответ не кланялся, но только смотрел. И ей казалось, что от взгляда у неё под платьем по спине начинают ползать большие чёрные восьминогие жуки.

Но, вспоминай-не вспоминай, а отчищать отхожее место надо и она вооружилась скребком, который соорудил ей дед Агеев – станционный мастер на все руки. Той порою, пока Надюшка отскабливала отхожее место, товарищ Кафтанов расположился у себя в кабинете за массивным, не теперешней работы, столом, поставленным сюда ещё в жандармские времена. Стол помнил бравого жандарма Варраву – было это в незапамятные царские времена. Сиживал за этим же столом при Временном правительстве некто Костюк – уездный конский лекарь, свергнувший ненавистный царский режим в лице станционного жандарма и помочившийся на сверженный со стены казённый портрет Государя Императора. Он любил проводить в марте-апреле 1917 года духоводъемные, революционные митинги на перроне с пассажирами проходящих поездов. При этом локомотив отцеплялся и вновь вставал в голову состава только после выслушивания зажигательных речей эсэра Костюка. Транспортная ЧК тоже здесь душегубствовала. Потом поручик Звягельский надзирал за порядком в те поры, когда временно установилась власть Комуча. Атаман Головня, он же Никитка - прежде вполне мирный сиделец в деревенской лавке, двое суток атаманил именно здесь, за этим столом, под воздействием первача рассылая по телеграфу в обе стороны грозные приказы с требованием бить всех, не разделяя на красных и белых, но в первую очередь, непременно гнусное иудино семя - жидов пархатых, как первых изменников делу социальной справедливости. Слава Богу, ничья человеческая

кровь ни на стол, ни на стены ни разу не брызнула, никого непосредственно в этой комнате не погубили., хотя уводить отсюда за насыпь - уводили. Окончание гражданского взаиморастерзания завершилось. Стол прекратили использовать для нарезания огурцов и сала, а также места пересчёта и дележа изъятых у мешочников продовольственных и иных излишков. Власть Советов установилась намертво, как вагон, под колесо которого подставили стальной «башмак». Стол вновь начали использовать по прямому назначению. За столом, аккурат под портретом человека с ледяным взглядом, на долгие годы воссели те, кто исповедовал принцип: «Добровольное признание – царица доказательства». Слова эти товарищ Кафтанов не уставал повторять всем попавшим ему в руки. Правда, один из задержанных – Сема Кирсанов по кличке Макуха, удачливый до встречи с Пал Петровичем поездной вор, криво ухмыльнувшись, сказал:

- Вам, гражданин начальник, виднее. Только, кто по понятиям живёт, растабарывает по-другому: «Добровольное признание – самый короткий путь на зону».

А что касемо Надюшки с её подозрительной песенкой и сопляком безумным... Да её - в два счёта... Видно бабу сразу - не устоит. Ходит шуганная, в платок замотанная, на мужиков не смотрит, сынка своего сопливого обиходит. Голоса никогда не слышно. Кафтанов ухмыльнулся: «Точилу бы на Надюшку поменять – золотая бы жена получилась». Только не факт, что она щи варить умеет. Всё-таки голь перекатная. Откуда взяться умению? Да и фигурой не в его вкусе! И он достал из сейфа прошнурованную Амбарную Книгу, куда заносил всё прохождение службы. Взявши ручку, раскрыл Книгу, обмакнул перо в чернильницу, внимательно осмотрел кончик пера – не подцепилась ли какая дрянь – и, тяжело вздохнув, написал на новой странице сегодняшнее число и первое слово: «ПРАВЕРКА». Затем буквами поменьше продолжил: «усного данисения косиршы Лядовой касемо... Тут перо остановилось. Надо было придумать, что и как писать дальше. Подумавши хорошенько, продолжил: «... падозрительнава пеня на ненашим изыке...». И снова затор: фамилию Надюшкину он помнил, но временно – ох ты, язва! - запамятовал.. Повспоминал – не

вспоминается! Пойти да спросить? Нельзя. Сразу заподозрят, что раз милиционер Кафтанов спрашивает, значит неспроста. А любому-всякому, кто в погонах, известно, что успех зависит от скрытности действий, помноженной на неотвратимость удара. Сам товарищ Кафтанов воспринимал себя как маленькую, но важную часть чего-то необозримо большого. На стене кабинета висела служебная карта-схема железных дорог Союза Советских Социалистических Республик, усеянная бусинками станций, нанизанных на тугие нити. Голова кругом шла от сознания того, что на каждой такой бусинке сидят, стоят на посту, дрыхают после смены сотрудники ЛОМов, в таких же гимнастёрках и фуражках, как и он, Кафтанов. Тугие эти нити ушивали, стягивали воедино пространство безразмерной страны. И стягивали так крепко, что товарищ Сталин, работая до поздней ночи в Кремле, мог быть спокоен за любимую им до беспамятства Державу.

А Надюшка (прежним именем она сама себя уже и не называла даже в уме) споро завершила мыть нужник и почти все «художества» отскребла. И дед Агеев – второй кладовщик пакгауза, он же умелец на все руки, уже прилаживался забить двери, дабы можно было порадовать начальство, ежели оно возжелает умилиться чистотою отхожего места. Сама она уже и руки успела вымыть буро-коричневым хозяйственным мылом. Мылилось оно плохо, но она прилади-лась скрести брусок ножом и стружки заливать кипятком. Получалось сходно. А тут и Богданчик проснулся. Она и его умыла, извечную соплю убрала и приласкала. А сын так и ластился к ней. Только бессловесно, лишь взмыкивал. Может, кому-то он и казался чудищем, а ей он был люб, ибо Богом данный, как велеречиво возгласил о. Гавриил. Она вспомнила, как вскоре после родов, под злобное бормотание тётки отправилась топить сына в реке и самой утопиться от позора и уродства новорождённого и, похоже, тётка Параска была бы рада такому исходу. По тропке, идущей наискось с крутого обрыва, спустилась к воде и у самой кромки замерла, оглушённая и недавними муками родов, и тёткиными попреками, и явной ущербностью рождённого дитяти. Стояла и никак не могла решить: отдельно ли его утопить, а

потом самой, вместе ли утонуть, держа его, спеленатого старой холстиной? Река здесь у села поворачивала и на самом повороте струи водяные свивались в водоворот-черторый. Все, что проплывало мимо, захватывалось течением и начинало описывать суживающиеся круги, приближаясь в центре. А самом центре образовалось даже нечто вроде погибельной ямочки. Попади в неё и не выберешься. В этом коловращении и заключалась самая смерть. Шагни - сейчас в воду и понесёт, и закружит, и утянет на дно. И всё, и отмучалась, и позор избудет. Как-то отстраненно, будто не о себе самой, размышляла, что будет потом, когда жизнь кончится. Ничего не будет? Но как выглядит это самое «ничего»? Никак? Или хоть как-то, вроде серой воды, равнодушно сворачивающейся в водоворот и текущей далее в неизвестные места? И тут Гликерия услышала, как сверху по тропке спускается к воде кто-то большой и тяжело дышащий. Оглянувшись, узнала о. Гавриила – священника сельской церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Батюшка тучноват, седина уже легла на его обильную бороду, стекая с совсем выбеленных усов. Спускаться ему тяжело, выцветший сизый подрясник стесняет движения, и он приподнимает подол левой рукой, а правой балансирует, смешно растопырив короткие пальцы. Порыжевшие, стоптанные сапоги скользят по глине еле приметной тропки.

- Дочь моя! Дочь моя! – говорит он задышливо. - Экая ты скоропоспешная! От самого села поспеваю за тобою, да еле поспел. Вот именно! Еле поспел, ей Богу! Ты ведь мне нужна. Ей Богу, нужна. Нужнее нужного нужна.

Она слушает и не слышит его. Вернее, слышит, но слова всего лишь звук, лишенный смысла. А до воды полшага. Здесь место гиблое, потому что сразу глубоко, с головкой. Полшага и всё закончится. Шагнуть? Но отец Гавриил уже рядом и берёт за локоток:

- Так ты мне нужна, дочь моя! Уж так нужна! Пойдём ко мне в услужение. Попадья-то моя, Кира Степановна, знаешь, волей Божией помре. Один я остался, а у меня двое огольцов. Вот именно двое. На моём коште будешь и одежда от меня. Жить тоже с нами в доме. Ты не думай, я и платить стану сходно.

А вода всё ещё темна, хоть день солнечный и блики должны бежать по речной ряби. Трясогузка села на берег чуть поодаль, заходила, хвостиком задёрнула. А чуть дальше, там, где обрыв береговой и вовсе крут, из пещерок своих выпархивают, как выстреливают, береговые стрижи. Жизнь продолжается. Вот и блики на речной воде вновь затрепетали. Заворочался малыш. Пискнул. Повинуясь инстинкту, она высвободила свою налившуюся грудку и он прильнул, зачмокал.

- Ты как его назвать хочешь?

- Да никак...

- Как же это? А молиться за кого будешь? Без имени Господь молитвы не примет. Вот именно, просто-таки не услышит тебя. Да и кому помогать, если имени нет...

Тётка Параска в церковь хаживала, но без особого усердия, только чтобы соседи не косились. Собиралась, платок повязывала и командовала: «Гликерия, пойдём». Да таким тоном, что идти вовсе не хотелось. Службу она, боясь ослушаться тётку, выстаивала. Но, особо не вникала, думала о своём, мечтала о разном. Как-то шибко богомольная соседка Елизавета спросила: «А почему на исповедь не идёшь и ко святому причастию?» Тетка замахала руками: «Какие грехи? Рано ей о грехах думать!». А когда домой в хату вернулись, сказала внушительно: «У тебя впереди прямая дорога. Станешь взрослой, красивой – поедешь в Бухарест. В хороший дом жить и работать тебя определю. Деньги будешь зарабатывать. Большие деньги. Хату леями обклеим».

- Ну, пойдём, пойдём!

О. Гавриил дождался, когда младенец, насытившись, выпустил грудь, повернул Гликерию от воды лицом, взявши за плечи, и, легонько подталкивая в спину, заставил ступать вверх по тропинке. Так она стала жить в доме священника.

2

Поразмышлявши основательно и всесторонне, милиционер Кафтанов решил-таки поставить в известность Мартемьяна Егоровича о подозрениях бдительной кассирши Лядовой и своих в связи с этим действиях. По-хорошему, он

начальнику станции не подотчётен. В некотором роде, он, как бы, и над ним поставлен, хотя милицейское помещение с торца здания и на первом этаже, а начальник вознесён на второй. И погоны у начальника почти офицерские. Но всё же, дело непростое. Если Надюшка не та, за которую себя выдаёт – беды не оберёшься. Выходит, что оба они не проявили бдительности, хотя больше виноват начальник станции. Именно он принимал на работу не куда-нибудь, а в Систему Путей Сообщения непроверенный и, может быть, чуждый элемент. Пал Петрович положил Амбарную Книгу в несгораемый ящик – ровесник стола и щёлкнул ключом. Подёргал за ручку, проверивши надёжность хранения служебной тайны, вышел из кабинета и, повернувши за угол, поднялся на второй этаж. В кабинет начальника станции вошёл, предварительно постучавши. Но мог бы и не стучать. Мартемьян Егорович слышал его характерные шаги. Всё-таки такой звук, который издают подковки на каблуках, спутать ни с чем невозможно: «Цвяк, цвик, цвяк, цвик».

- Несёт же нелёгкая. – Подумал Начстанции. – ко всем невздадам только его и не хватало.

Поздоровались. Мартемьян Егорыч предложил присесть. Достал пачку «гостевого» «Казбека», сам-то обычно курил простоватый «Норд», хотя знал прекрасно, что товарищ Кафтанов не курит. Но ритуал следует блюсти. А сам закурил. Имеет право. Он начальник, сидит у себя в кабинете и станция у него, как на ладони, стоит только поглядеть в окно. Но обманываться «Казбеком» Пал Петровичу не пристало. Ему доподлинно известно, что начальник его недолюбливает. Об этом как-то донесла всё та же кассирша Лядова, усмотревшая косо взгляд в сторону милиционера и свистящий, сквозь зубы, замысловатый матерок ему вослед. Мартемьян Егорыч действительно недолюбливал всех, как он выражался, «этих». Были к тому некоторые предвоенные предпосылки, ещё со времён детских, но сильно добавила война. Он прошагал войну, а вернее, проехал её с самого начала до победного завершения в Германии. Сперва ему приходилось разорять железнодорожные сооружения, иногда буквально на газах у немцев при отступлении, а затем спешно восстанавливать по мере продвижения войны на

запад. И бомбили их, и диверсанты активничали, и танками отрезали их монтажно-восстановительный поезд, и какого только лиха ни жаловала им треклятая война. Был трижды ранен. Одна нашивка на гимнастёрке за лёгкое ранение, две за тяжёлые. Одно ранение, между прочим, в такое место, о котором и говорить срамно. Но наград – всего ничего. А «особисты» сплошь в знаках отличия. Уж очень ребята усердствовали. Вот и Кафтанов, как известно, всю войну промилиционеривший в тылу, имел медаль «За боевые заслуги». За какие-такие, помалкивал. Словом, не любил Мартемьян Егорыч Пал Петровича и хрен бы тому собачий в спину!

Первым прервал некоторое молчание, установившееся в кабинете по причине неожиданности визита Мартемьян Егорович:

- Значит, Пал Петрович, ваши вышестоящие навестят нас также?

- Прибывают, прибывают, товарищ начальник станции.

- Эх, завернул про товарища начальника! – отметил про себя Мартемьян Егорович. А Пал Петрович остался доволен тем, как он осадил собеседника нарочито официальным обращением, хотя досель обходились они вполне обычными выканьями по имени-отчеству. А в прошлом году на День Железнодорожника даже по стаканчику казённой пропустили и за пути сообщения, и за товарища Сталина, и за здоровье присутствующих. После торжественной части, конечно.

- Я вот чё хочу сказать, только строго секретно - продолжил служебный разговор Пал Петрович, - Это, значит так: есть сведения оперативные, что Надюшка ваша и не совсем Надюшка.

- Какая такая моя Надюшка? Кирпань, что ли?

- Вот-вот! – возрадовался в уме милиционер Кафтанов, - И как же я забыть мог такую простотень? Именно Кирпань! Хотя она вовсе не кирпатая-курноса. Несмотря на фамилию. Никакой курносины, а даже наоборот: прямой нос. – И добавил уже вслух, - Она самая. Та, которая...

- У которой сынок убогий? И она не совсем...

- Не совсем.

- Да ладно!

- Вот вы, Мартемьян Егорович приняли её на работу. Так?

- Так. И что?

- А документ её проверили?

- Справки её всякие, и что она донор и кровь раненым сдавала, вместе смотрели.

- Допустим, смотрели. Но на работу-то вы принимали.

- Как не принять, когда осень тогда и заморозки, а она с парнишкой, можно сказать, разнагишавши.

- Вот-вот; разжалобила, бдительность-то и усыпила вашу, товарищ начальник станции. Или она по женской части приглянулась, как докладывают?

- Да, ты... Да, вы...

Надюшка и впрямь приглянулась совсем ещё не старому Мартемьяну Егоровичу. Не сразу, конечно, но после того, как отмылась, отпарилась в бане и хоть чуть наела щёки. Но говорить о чём-то таком не было никаких оснований. Ни-каких! То, как он был посечён осколком, не там, на голове, а совсем в противоположном месте, исключало любые телесные попользования. Наедине с собой он горько шутил: «Вчистую списан». За окном взревел паровоз и через станцию на проход проследовал товарняк: крытые вагоны, нефтяные цистерны, оставляющие за собой в воздухе пахучий тяжёлый хвост, полувагоны и открытые платформы, на которых стояли краснобокие контейнеры с неизвестными грузами. Последним в составе следовал пульман с тормозной площадкой, на которой, нахохлившись, сидел вооруженный карабином ВОХРовец в плащ-палатке с поднятым капюшоном. Мартемьян Егорович посмотрел на часы-луковицу, лежащие перед ним на столе, и отметил не без удовольствия, что график движения на перегоне соблюдается. Хотя какое тут удовольствие, если палец мозжил всё сильнее – дело явно шло к долгожданной грозе, а то и к затяжному ливню. А тут ещё и милиционер явился с подозрениями. Грохот проходившего товарняка стих и стало возможно продолжить беседу:

- Я, товарищ Кафтанов, потому и жив, что рядом такие, как Надюшка, оказались. Мне, знаешь, сколько крови перелили по госпиталям? Ничего ты такого не знаешь! Вам,

тыловикам такого не понять. Это не бабок с варёной картошкой по перрону шугать!

- А вот это видал? – Кафтанов вскочил, как ошпаренный, задрав подол гимнастёрки, расстегнул ремень форменных галифе, трясущимися пальцами повыковыривал пуговицы из петель на ширинке и, приспустив галифе, показал бедро правой ноги, из которого был вырван изрядный кус мяса. – А это видел?

- Ох, и ё..! – только и сказал Мартемьян Егорович.

- Вы думаете, «мусор»... Вы думаете, только свисток да «Гражданин, пройдётте». Вы, фронтовики, думаете, одни вы и воевали? А мы у тёплой печки жопы грели? Так? Да? А я в зиму с сорок первого на сорок второй я на заимках чернореченских дезертиров имал. Их там, на заимке десятеро гнездовалось. И не просто так. Сплошь ушлые ребята. Кое-кто и с оружием. Был там один такой... Северьянов Колька. Стрелок отменный. Он мне жакан в ногу и всадил. Да и не простой жакан, а медвежий, пилёный. Попадёт – разворачивается... Думал, без ноги останусь, пока до больницы везли.

- А стрелок этот?

- Капитан Бобылёв – командир наш, с ППШ его посёк...

- А остальные?

- А... - Кафтанов в ответ только рукою махнул, принявшись всё ещё трясущимися пальцами застегивать пуговицы на ширинке своих галифе. Он уже и корил себя за то, что сорвался, разнагишавшись. Да что там говорить: обидно видеть, как смотрели на него фронтовики, вроде Мартемьяна...А он что? Послали бы, пошёл бы. Но не посылали. Правда, и сам не просился. А пулю на дурняк схлопотал. Шёл к заимке, как по перрону... Он застегнул пуговицы. Затянул брючный ремень и сел. А пальцы всё тряслись. Неожиданно даже для самого себя выудил казбечину из коробки со скачущим джигитом на крышке, неумело замял мундштук, Сунул в рот. Мартемьян Егорович услужливо чиркнул спичкой. Пал Петрович затянулся, закашлялся. Достал папирину изо рта и посмотрел на неё с изумлением: такая махонькая, а какая в ней сила – прямо-таки душу выворачивает. Мартемьян Егорович той порой отворил дверцу тумбы стола

и достал четвертинку «Московской» с осургученным горлышком и две стопочки. Сковырнул сургуч и ласково так наподдал ладонью четвертинке по доньшку. Картонная пробка выскочила, водка полилась в стопки. Кафтанов смотрел на эти действия не без изумления: когда бы можно было подумать, что такое произойдёт? А произошло. Начстанции бутылку ставит. А ещё Мартемьян Егорович извлёк на свет божий большой, уже обсеменившийся огурец, нож с наборной ручкой из плексигласа и берестяную солонку с крупитчатой сероватой солью. Огурец был располовинен, посыпан солью и Мартемьян Егорович сказал:

- Ты, Пал Петрович, обиды не держи. Ага?

- Ага, - сказал Кафтанов.

И они выпили. И огурец, хотя и обсеменившийся, оказался кстати. Кстати и водка помогла – чуток голова отошла.

А Салтын? А что Салтын? Он выпался. Пожевал варёной картошки без масла, конечно, но с сольцой. Досталось ему и кисленького компотика из степной вишни, росшей за линией. В благодарность он потёрся лбом о мамино плечо и отправился по своим салтыновым делам. А дела у него были вот какие; За пакгаузом приямок, неизвестно зачем и кем выкопанный. Место неприметное. Там схоронены им разноцветные стеклышки от битых бутылок и невесть где раздобытые светофильтры от железнодорожного сигнального фонаря. А ещё главное сокровище – небольшой осколок оконного стекла с узелком. Узелок этот самым расчудесным образом искривлял увиденное, если сквозь него смотреть на окружающий мир. Салтын забирался в приямок, откапывал свои сокровища и мог часами смотреть через стёклышки на небо, стену пакгауза, поезда, прибывающие на станцию Горелый Ям с чётной стороны. Они появлялись из-за леса, растущего с обеих сторон полотна, сперва дымом из паровозной трубы. Потом дым разрастался. Затем показывался паровоз с красной точкой на лбу. Точка стремительно превращалась в звезду и уже были видны колёса и движущееся дышло. Подъезжая к станции, паровоз давал гудок, и становилось видно, как из свистка поднимается короткий и яростный столбик пара. Далее проплывала паровозная будка с буквами

на ней, которые Салтын не понимал. А за будкой – тендер с горбушкой угля, И только потом вагоны. Если дело было утром, и вагоны шли пассажирские, можно было смотреть на них сквозь стеклышки, и это было захватывающее зрелище, потому что солнце отражалось и бликовало в вагонных окнах. А вослед убывающим поездам Салтын смотреть не любил, хотя вечерами на последнем вагоне уже начинали светиться весёлые такие, разноцветные сигнальные огоньки, а из паровозной трубы вылетали вместе с дымом искорки горящих ещё угольков. Но самыми интересными становились дни, когда по небу проплывали кучевые облака, или зависали высокие перистые. Облака всегда были разными. А если подносить к глазу стеклышки, то и вовсе разными: то красными, то жёлтыми, то зелёными, то закрученными волшебным узелком. Ветры несли облака внутрь материка. Они, повинувшись силе ветра, двигались по небу и не подозревали, что где-то там, внизу, из приямка за пакгаузом наблюдает за ними маленький уродец. И он тоже делает с ними всё, что захочет, словно ветер, то мнущий и разрывающий облака на части, то сбивающий в плотные покровы, наподобие ватного одеяла, которым укрывались он и мама по ночам. Однажды Салтын запрокинул голову: он увидел ночное небо, по которому будто кто-то полувывсохшей кистью для побелки мазанул. Ему очень хотелось посмотреть и на звёзды через стеклышки, но мама не отпускала ночью. Да и спать хотелось сильнее, чем смотреть. Всё-таки сил в нём было немного. И он засыпал, как проваливался.

На крестины салтыновы тётку Параску не позвали. Да и какая она тётка? Отчиму Фёдору двоюродная сестра. Или даже троюродная. Заявилась, когда тот, допившись до белой горячки, зарубил топором мать Гликерии, и его увезли румынские жандармы. Гликерия помнит: отчим сидит в каруце, свесив ноги. Руки у него связаны за спиной. Глаза большие, безумные, белые, словно две свежеччищенные картофелины. И молчит. Два жандарма с ружьями также запрыгнули в каруцу, запряжённую двумя лошажьими недоразумениями. Возница крикнул: «Гоп» и кони пошли. Тогда, уже после всего, появилась тётка и стала по-своему

обживать хату, по закону принадлежащую Гликерии. Вроде опекунши, в силу недостаточности лет этой сквернавки. Потом случилось то, что случилось. А теперь вот; Таинство крещения. Пахнет ладаном. О. Гавриил произносит нараспев непонятные слова. Вступают певчие – три старушки, прислуживает церковный сторож, он же пономарь Никодим. Крёстными выступили: бывший фейерверкер царской армии Мыкола Галаган, и престарелая уже Авдотья Сергеевна – школьная учительница из «бывших», петербурженка, осевшая в Бессарабии, в этом, Богом забытом селе. О. Гавриил окунул сына в купель - так она стала матерью младенца, наречённого Богданом. Ведь сын ей послан, как внушал о. Гавриил, самим Богом, который оделяет своими милостями и не жалуется тех, кто вопрошает: «За что», но призывает задуматься: над вопросом: «Зачем»?

Дел по дому нашлось для неё множество. Тут и постирушки, и готовка, и уход за коровой, и кормление кур, и уборка. Она туго упеленывала Богдана, надеясь, что от такого пеленания на место встанет и ножка Богдана. от рождения выглядевшая ненормально. Тщетные то были надежды. Одна радость – сын был не криклив. Полёживал молча, только изредка попискивал, когда хотел есть. Молока в груди доставало. Всё-таки кормёжка в доме священника побильнее, чем в родной хате, где тётка Параска норовила больше налегать на мамалыгу, и Богдан потому не голодал. Была ей и подмога; Сыновья у о. Гавриила росли не балованные. И старший – четырнадцатилетний Савватий, и младший, на маленького монашка похожий - одиннадцатилетний Сергей к труду были приучены. Да и сам о. Гавриил любил колоть дрова, метать сено на сеновал и иную работу работал, требующую мужской силы и сноровки.

Попервоначально Гликерия боялась спать в доме. Ей хотелось забиться куда-нибудь в нору, в чулан, чтобы дверь в её нору запиралась изнутри. Но о. Гавриил настоял, чтобы она спала в маленькой комнатке об одном окне, выходившем во двор. Здесь прежде была спальня мальчишек. Но он перевёл ребят в свою «супружескую» комнату, а сам перебрался в келлею. Так он называл комнатку, где было множество икон. Нечто вроде домашней часовенки. Там он поставил

деревянный топчан, который самолично соорудил из сухих и звонких сосновых досок. Топчан был застелен тоненьким тюфяком, набитым ячменной соломой. Гликерии казалось странным, что богатый человек, а батюшка казался ей страшно богатым, столь бедно устроил себе постель. Тем более, в доме была и перина, и пуховые подушки, оставшиеся от прежней жизни с попадьёй. Еда в доме была, однако, довольно простой. Через какое-то время она научилась варить вкусные щи и иное-прочее даже в постные дни. Гречневую кашу упаривала в печи до нужной рассыпчатости. Про мамалыгу и говорить нечего. Особой мастерицей стала по жарке рыбы и печению хлебов. Хлебы и всё печёное удавалось ей необыкновенно. Словно какую-то неведомую силу источали руки её, замешивающие тесто. О. Гавриил за завтраком, если день был не постный, намазывая хрусткую, хорошо пропечённую корочку жёлтым коровьим маслом, даже постанывал от предвкушения удовольствия. И сразу же крестился и просил: «Прости, Господи, за грех чревоугодия». Испросив прощения, отправлял бутерброд в рот и жевал долго, продолжая пристанывать: «М-м-м».

Но она ещё долго его дичилась. Не уразумевала, зачем он тогда догнал её на берегу реки и не дал возможности утопнуть вместе с сыном? Зачем взял к себе в дом? Ведь к нему в услужении пошли бы из села женщины и поопытнее, и поспоривистее, не обременённые младенцем. Зачем? Зачем? Тётка Параска, подстерёгшая Гликерию как-то возле церкви, зашипела, вбуравливаясь: «Ишь, юбку справил да платок. От попадьи поминок?. Сколько он тебе платит-то думает? Поди, попище и под юбку залез? Ты ему скажи, что я тебе, сиромaxe, самая близкая и надо ему со мной уговор иметь, да и леи заработанные мне отдавать, чтобы копила я их на чёрный день. Ты ещё малая. Неразумная. Пятнадцать тебе только исполнилось». Гликерия вырвалась от тётки, хотя та ухватила пальцами за её руку, даже чёрные следы от пальцев остались чуть повыше локтя. Но от мыслей своих не убежишь и она долго ещё с вечера не засыпала, прислушивалась: не крадётся ли священник в её комнатку, не начнёт ли хватать своими сильными руками за все места. наваливаться на неё обильным телом. Однажды она, заслышав какое-то

шевеление, даже встала и осторожно выглянула из-за холстинковой занавески, отделявшей ее комнату от других, и подсмотрела, как в своей келейке о. Гавриил, стоя на коленях перед иконой Богородицы крестился и, похоже, безмолвно плакал. Широкие его плечи и спина содрогались от рыданий. Вечерами, после ужина о. Гавриил читал вслух. Но сперва Гликерия уносила прочь чайную посуду и самовар, а затем усаживалась за стол вместе с сыновьями и своего Богданчика держала на руках. Снималась с полок одна из книг – а книг было в доме множество – и начиналось чтение. Книги были разные: и божественные, и просто всякие истории, как например, про Пугачева и Машу - дочку капитанскую. Читывали и стихи про конька-горбунка, и пушкинские сказки. Но чаще звучали евангельские рассказы о муках Христовых в переложении для детей. А иногда и вовсе непонятные и потому особенно таинственные слова из книг богослужбных. Когда читалось такое, голос о. Гавриила менялся, становился гуще, значительнее и очки, которые он надевал при чтении, сверкали по-особому внушительно.

«Согрешихом, беззаконовахом, неправдовахом пред Тобою, - голос священника, как бы темнел, будто туча, напитанная дождём, - ниже соблюдохом, ниже сотворихом, якоже заповедал еси нам: но не предаждь нас до конца, отцев Боже». Голос о. Гавриила погружался в такие глубины, из которых, казалось, ему и не выбраться. Но чтение продолжалось. И голос начинал светлеть, всплывая из глубин на свет Божий, сюда в эту комнату, к этому столу, накрытому расшитой льняной скатертью, и освещаемому керосиновой лампой, подвешенной над столом на трех бронзовых цепях: «Тайная сердца моего исповедах Тебе, Судии моему: виждь моё смирение, виждь и скорбь мою, и вонми суду моему ныне, и Сам мя помилуй яко благоутробен, отцев Боже». Глубинные смыслы сказанного ускользали от сознания и Гликерии, и сыновей священника - слишком малы они были для таких откровений. Но музыка велеречения завораживала. И даже Богданчик замирал, слушая, и ей казалось, что всё хорошо и его уродство - всего лишь несовершенство облика, в котором она повинна и грешна безмерно, потому что боялась и покорно слушала уязвляющие речи тётки.

Наконец, наступило время исповеди и причастия. О. Гавриил событий не торопил, исподволь готовя её к великому таинству. Она невольно прониклась трепетом пред тем, что придётся рассказать, прежде всего самой себе, о том безотчётном и тайном, что жило в самых глубинах её, по сути, детской ещё души. В храм пришла, держа на руках младенца. Богдан загодя начал волноваться, кукситься, не давал себя пеленать, что само по себе было удивительным. Ведь обычно, пососавши грудь, он делался спокоен и покладист и позволял ей вершить все необходимые по дому дела. В этот раз всё шло совсем не так. Была суббота, храм полон молящихся. При входе она столкнулась с тёткой Параской, и та, было, опять начала что-то злоехидно пришепётывать, но Гликерия скользнула мимо в Пантелиимонов придел, где уже стоял аналой и о. Гавриил начал исповедовать односельчан. Богдан, и до того ведший себя беспокойно, и вовсе заизвивался, начал попискивать, чем ближе подходили они к исповеднику, и вовсе заплакал, когда осталась впереди только согбенная бабка Горпина. На них начали оборачиваться молящиеся, где-то сбоку опять послышалось злоющее шипение тётки, и Гликерия уже решила выйти из храма. Но тут о. Гавриил, отпустив грехи бабке Горпине, поднял на неё взгляд и чуть приметно, одними глазами улыбнулся. И она осталась в храме. Краем глаза Гликерия увидела, как пробирается через толпу старух к иконе Целителя господин Мирча с толстой и самой дорогой свечкой. Богдан буквально забился у неё на руках, но одна уже стояла пред аналоем, на котором покоились книга и крест. Это только кажется, что по молодости грехов на человеке нет. Грехов на ней было с избытком; Это и комок сахара, который она украла и съела тайком, и кот Пшика, что был выдворен ею на мороз неизвестно, за какие вины. И нелюбовь, а потом и вовсе ненависть к матери, приведшей в дом этого пьяницу Хвёдора, с которым они вместе напивались и делали ЭТО, нисколько не стесняясь её, маленькую, как боров со свиньёю. А потом нагие засыпали, и она разглядывала бесстыже раскинутые тела и ненавидела даже храп их, пропитанный тошнотворным винным перегаром. А потом она добралась до Марички – соседки и подружки её, с которой отправились они в

господский сад воровать сливы. Стоял август. Сливы были убраны. Они же и ходили сюда на заработки, снимать ещё недоспевшие сливы с веток под приглядом господина Мирчи – управляющего. Но одно дело убирать и складывать недоспевшие твёрдые сизые сливы в корзины, которые повезут потом куда-то на продажу или на перегонку. Другое дело, совсем другое – проникнуть в сад тайно, на исходе дня и отыскивать на ветках переспевшие розово-белесоватые мешочки, наполненные невозможной сладостью, почти мёдом, в котором плавают косточки. Это был грех. Тайный грех, даже несколько грехов разом: и грех воровства, и грех чревоугодия. Они отыскивали редкие переспевшие сливы среди ветвей и, соревнуясь с отяжелевшими от лакомства осами, отправляли в рот. Уже и наелись, и Маричка заспешила домой, а Гликерии хотелось ещё немного пособирать, чтобы принести в хату, чтобы хоть как-то продлить сладкое послевкусие. Маричка звала, звала, да, не дозвавшись, и побежала под горку к селу. А Гликерия продолжала собирать сливы и складывать их бережно за пазуху рубахи, и они приятно отдавали её телу тепло августовского солнца, впитанное за день. Она так увлеклась поиском, что не услышала, как подошёл, крадучись господин Мирча. А чего бы, спрашивается, красться? Он – управляющий имением, почти хозяин, ему можно идти, крепко ступая, не сторонясь никого – другие пусть сторонятся. Тем более, эти русские, да украинцы. Да и молдаване тож вместе с цыганами – одна сволочь. Он здесь главный представитель короля Кароля и Великой Румынии. Ясно?

- Воруешь, дрянь такая? - спросил он ласковым голосом. - Воруешь. Вижу, что воруешь.

Мирча любил вворачивать в свою речь румынские слова. В деревне все говорили эдак, подмешивая в русскую речь, то украинские, то молдавские, а то и цыганские или еврейские словечки. Но высшим шиком считалась румынская речь, язык Короля. А когда приезжал сам Господин из Бухареста, он разговаривал только по-румынски. Он весь был румынский: от соломенной широкополой шляпы до двухцветных узконосых штиблет. И усы-то у него были господские, сразу видно, румынские, узенькие, словно два чёрных

червячка над верхней губой. Когда он что-то говорил, обращаясь к этим бестолковым русским крестьянам и даже к о. Гавриилу, червячки двигались, будто стремились уползти

- Да мы, дяденька Мирча, совсем немного, только поесть, только поесть. Они же всё равно...

- Воруешь. – всё тем же ласковым, а потому парализующим голосом продолжил Мирча.- полную пазуху наворовала. Иди сюда.

Он ухватил ей за руку, притянул к себе и начал своими толстыми ладонями ощупывать её белую рубаху и давить мягкие сливы, лежащие за пазухой. Перезревшие сливы под его пальцами лопались, и сладкая жижа, извергаясь из кожицы, проступала сквозь тонкую ткань рубахи. Гликерии стало совсем страшно – ничего хорошего это не сулило при встрече с тёткой. А ещё замутило от ощущения липкой жижи на теле и запахов, которыми был пропитан Мирча; винной отрыжки, табачного дыма и чеснока.

- Ой, какие тут ещё сливочки! – даже уже не просто ласковым, а каким-то тонким, совсем поросычьи голосом заговорил Мирча, ущупав под рубахой маленькие, вполне ещё девчачьи грудочки - Надо за краденное платить. Да-да-да. Будешь платить? Или к стражникам тебя? А? Жалко мне тебя. Жалко. Такая вкусенькая, *mea dulce*, и в тюрьму. *Floare...*

И он повалил её на начавшую уже опадать сливовую листву и совершил то, что проделывал пьяный отчим с матерью, когда, гоняясь за ней по дому, валил под себя там, где догнал. Гликерия не знала, какими словами рассказывать на исповеди про всё, что с ней произошло тогда под сливами. Да, и правда: как поведать об испытанной боли и омерзительном страхе, который тогда её сковал. Сделав дело, Мирча, побряхывая, встал, отхлебнул из фляжки, и начал отряхивать штаны от приставшего сора, а она лежала на земле, словно гусеница, раздавленная сапогом. Она говорила сбивчиво, стесняясь и путаясь, Богданчик на руках бесновался, а о. Гавриил слушал и вбирал её горе, подобно тому, как сухая земля впитывает обрушившийся дождь. А ещё надо было покаяться в том, как она изводила ещё не рождённое дитя, подстёгиваемая тёткой. Та буквально

взревела, встретив её на пороге хаты, всё выпросив: «Ты – сучка дырявленная! Я тебя для хорошего готовила. Думала, повезу в Бухарест, добрую цену за твою целку возьмём. А теперь куда? В Констанцу - морякам на причал? Или хуже того – в Кишинёв – клопов кормить. Там таких свёрленных пруд пруди - пол Бессарабии!». И они начали изгнание плода, и чего только при этом ни предпринимали. Делалось всё тайком от соседей. Правда, Мирча знал – тётка перехватила его возле господского дома и потребовала справедливости. Он только ухмыльнулся. Тогда тётка начала припугивать, что дойдёт до примара, и даже до барина в Бухаресте. В ответ Мирча назвал обоих нехорошим русским словом. Однако, через несколько дней, когда стемнело, подкатил к дому на двуколке и свалил около ворот чувал дроблёной кукурузы, чтобы, значит, варили мамалыгу и не журились. И то ладно. Румыны с русскими особо не церемонились. А Мирча в селе считался хорошим румыном и за работу в барском имении всегда, хоть и немного, но платил. Ещё она призналась, что боится его, о. Гавриила, потому что плохо о нём подумала, и что как-то утащила четыре куска колотого сахара своей подружке Маричке. Исповедуясь, она и не подозревала, сколько душа у неё накопила больших и малых грехов. А они проплывали пред глазами, словно льдинки по замерзающей реке. Наконец, они, как ей показалось, кончились. О. Гавриил накрыл склонённую её голову епитрахилью и произнёс слова разрешительной молитвы. Но она слов толком не расслышала – взрёвывал не по-человечьи Богдан, извивался в руках, словно неведомая сила вселилась в его тщедушное тельце. Подошла тётка и предложила подержать ребёнка, пока Гликерия причастится. Но она только головой мотнула. А потом началось церемония причастия. Вся церковь, а женщины в особенности, с осуждением смотрела на эту бесстыдницу с её уродцем, которого она не могла унять, хотя тетёшкала, укачивала, трясла и только рот ему не затыкала. В селе о ней, родившей невесть от кого, думали плохо. Да и чего ждать от девки; мать погулиwała, пила и нарвалась-таки на топор пьяного, но, в общем-то, справногo мужика, который из-за неё пошёл на муки. И к причастию её не сразу подпустили, хотя тех, кто с детьми, пропускали, по

обычаю, вперёд. Но ей хода не давали, оттирая от амвона своими круто замешанными задами и пудовыми грудищами. А Богдан продолжал кричать и кричать. Но вот она оказалась пред священником. О. Гавриил подцепил ложницей Кровь и Тело Христово и, улучив момент, вложил Причастие в уста извивавшегося на руках матери Богдана. Богдан тут же замолчал, и тельце его обмякло на руках Гликерии. Она также приняла Причастие и отошла, поцеловав руку священника. Ей и раньше доводилось причащаться, но никогда не испытывала она того, что испытала сейчас, поведав свои печали и страхи священнику. Хотя, нет! Она вдруг поняла, что её слушал Тот, которого до сего дня не ощущала. Раньше, приходя в церковь, она думала, что Бог – это старенький дедушка с бородой, что нарисован выше всех на иконостасе. Оказывается, Бог – это неохватное, всеобъемлющее и невыразимое чувство, А она сподобилась узнать Его, и устрашена этой безмерностью, и пронизана радостью сопричастности Высшим Силам.. Вставши у стены, где висела икона Богородицы, уязвленной мечами в самое сердце, Гликерия со страхом посмотрела на сына, вдруг подумавши, что он умер у неё на руках. Но увидела: он спит. Стали подходить женщины, также ошеломлённые внезапным прекращением надсадного крика, вглядывались в лицо крепко спящего, дивовались: бесновавшийся только что уродец, сладко посапывает на материнских руках, Взглянув, крестились и смотрели на священника, закончившего причащать. Все в храме и Гликерии также ждали: о. Гавриил, скажет что-то поучающее. Но он ничего не сказал.

3

А милиционер, товарищ Кафтанов свое дело делал и делал. Мало ли, что говорил Мартемьян Егорович. Хотя и извинился, и стопочку налил, но ничегошеньки он не понимал в настоящей бдительности, в неукоснительном соблюдении установленного порядка вещей. Кстати, почти все фронтовики такие: думают, раз воевали и победили, то можно теперь всё. Нефига! На последнем совещании полковник Дергач - начальник милиции всей Дороги, этаким колобок

крутого замеса в сапогах со шпорами, извергал с трибуны командирским голосом:

- Подпруги подтянуть! Подтянуть, говорю вам, подпруги. И поводья подобрать!

Начальник, между прочим, фронтовик. И воевал не как-нибудь, а в кавалерии. Он из той категории политруков, которые с шашками наголо атаковали фрицев по глубокому снегу под Москвой. И если кого-то ругал, словно рубил с оттяжкой, от плеча и до пояса разваливая провинившегося.

- Я застаиваться вам не дам, - громыхал он с трибуны. И под уздцы водить не стану, Ваше дело – бдеть! Слышали, что Черчилль, союзничек хренов, заявил? Что опять войну на нас напустит. Ваше дело - не перед кобылами в юбках аллюры на перроне выказывать. Ваше дело - наводить страх и ужас на врага. А враги вокруг да около! Вы думаете, побирושка корки собирает? А он вагоны пересчитывает. Да военные грузы берёт на карандаш!

Но куда страшнее громыхающего начальника был неприметный человек из районного отдела той организации, которую по-привычке между собой люди не без страха называли ЧкКой. Когда-то, перед самой войной ещё, молодой и пока неженатый Кафтанов дал согласие на сотрудничество. С той поры люди в этой конторе передвигались по службе, убывали и прибывали, но его. кафтановское письменное согласие лежало-полёживало в несгораемом шкафу и время от времени, но довольно регулярно напоминало о себе тишайшими просьбами проинформировать об умонастроениях станционного люда. Всего лишь проинформировать. И ничего более. Вот и этот новый, с волосами цвета выгоревшей на солнце овсяной соломы, прибывши к новому месту службы, ознакомился с агентурой сначала по бумагам, а потом, выбрав момент, и лично, шелестящим голосом попросил продолжить сотрудничество. И его также умонастроения интересовали, как и предшественников. В частности, как уяснил для себя Кафтанов, шелестящего интересовал начальник станции. А вообще, интересовали все. Спрашивал он и про Лядову. Но получивши в ответ от Кафтанова, что она дура набитая и готова на осинový кол сесть – так ей мужика хочется – усмехнулся и больше вопросов по ней не

задавал. Откуда было товарищу Кафтанову знать, что и кассирша Лядова встречалась как бы мимоходом с уполномоченным и на вопрос о милиционере с оттяжкой сказала, что индюк он и жеребец стоялый, а жена его – грелка резиновая без кипятка. И вот теперь появилась возможность доказать на деле, что не зря у него погоны на плечах и продпаёк не напрасно выделяется ему для того, чтобы никому он в рот не заглядывал, но нёс службу исправно. И эта возможность – вот она: вечно сопливый уродец и его мамаша неизвестных кровей с песенкой на чужом языке. Если конечно дура Лядова не врёт по своему обыкновению. И сидя в своём кабинете, он представил себе на миг и тут же ужаснулся собственной мысли о том, за какую ниточку ухватился, и что за эту ниточку можно вытянуть. Он представил, как мамаша сопляка расскажет о целой вражеской сети, пересчитывающей вагоны. И о том, что где-то, а может быть, и на станции Горелый Ям есть некий обходчик вагонов, простукивающий колёса на предмет выявления трещин, а на деле норозящий вредительски сыпануть в бокс песочку. И мордатый Черчилль с животом, похожим на футбольный мяч, как он пропечатан на карикатуре в центральной газете «Известия», так и ждущий схода с рельсов пересчитанных вагонов. Нет, такую удачу, такой улов было бы просто смешно упускать из рук. Это вам не умонастроения. Это враги. А кассирша Лядова не сомневалась, что высокое начальство по прибытию обязательно заглянет в тесное помещение кассы, хотя посторонним сюда строго запрещён вход. Но начальство – везде не постороннее. И тут следовало хорошенько подумать, прежде чем что-либо предпринимать. Можно было бы для уюта принести из дома горшок с геранью. Но цветущая герань, чего доброго, наведёт на мысль о её несерьёзности. Можно также прикрепить к стене цветной портрет Лазаря Моисеевича Кагановича из журнала «Огонёк». Но и здесь не всё ладно – евреев Лядова не любила, сама не зная почему. Наверно потому, что был у неё в ухажерах один-разъединственный еврей – учитель из эвакуированных. И дело шло к свадьбе. Но тут появилась ещё одна – из этих же – толстоносая и пучеглазая. И учитель предпочёл свою. Оставалось подумать о платье, в котором следовало встречать гостей из

заоблачной выси: просто платье или то, которое так выпукло рисует её невостробованные прелести – чёрт бы побрал этого Мартемьяна Егоровича. Обо всём этом Лядова только и думала. И ей было начхать на то, чем жила и о чём думала Надюшка, певшая песенки не на русском языке.

А Надюшка, хоть и старалась забыть, всё ещё помнила: и как её звали в прошлой жизни, и как она, Гликерия стала даже телом обзаводиться. Тут и питание, и спокойствие, которое снизошло на неё после исповеди и причастия. По-прежнему, после ужина о. Гавриил читал вслух Пушкина, и они слушали и «Повести Белкина», и стихи, и сказки. Особенно сказки. И про мудрого царя Салтана, и про находчивого царевича Гвидона, и про Царевну-Лебедь. Семилинейная лампа светила ярко. Матовый стеклянный абажур рассеивал свет на круглый стол, накрытый скатертью. Печка-голландка, обитая белой жостью, источала тепло. Удивительно, что совсем ещё малой Богданчик также приохотился слушать. Затихал на руках, и, казалось, понимал услышанное.

Так они и жили. Жили бы и дальше, но как-то раз о. Гавриил вернулся домой взволнованный сверх меры. Он сообщил: идут русские. Русские – значит, советские. Идёт Красная Армия, потому что король вернул Бессарабию России, потому что Сталин королю пригрозил, а тот испугался. Вечером после службы вместе с о. Гавриилом пришли Мыкола Галаган и Авдотья Сергеевна. Притащились пономарь Никодим и престарелый о. дьякон Демид Петря. Он был стар, глуховат и умом малость скорбен, потому как однажды за ектеньёй стал возглашать государя императора и всю Царствующую Фамилию. Пили чай. Разговаривали почему-то приглушёнными голосами, Больше других говорил о. Гавриил, недовольно поглядывая на о. дьякона, истово размешивающего в стакане четыре ложки сахара, но не потому, что четыре, а потому что уж и сахар растворился, а он всё бултыхал и бултыхал ложкой. Обсуждали завтрашний день. А обсуждать что – было. Через село текли в сторону Румынии грязные ручьи отступавших солдат, ехали повозки, лошади проволокли пушки. На машине проследовал какой-то

важный военный чин, а за ним в кузове грузовичка копна разного барахла. Гликерия запомнила почему-то перину в цветастом напернике. Верёвки, удерживающие барахло, впились в перину так, что она напоминала задушенного человека. Некоторые солдаты-молдаване заходили в хаты и просили крестьянскую одежду в обмен на обмундирование, и какое-никакое военное имущество. И таких оказалось много в непобедимой армии Великой Румынии.. Мыкола Галаган вспомнил свою молодость, когда дезертировал из русской армии генерала Щербачёва. Правда, винтовку он тогда с собой прихватил. Вскоре она ему пригодилась, когда полковник Дроздовский начал свой марш на соединение с Белой Гвардией на юге России и он. Мыкола с ними. А мобилизованные молдаване, снимавшие румынскую форму, и винтовки продавали – лишь бы переодеться и поесть. Уж очень голодны были ребята. И Мирча уехал. Даже раньше солдат и стражника, и примара. Приказал нагрузить каруцу хозяйским и своим, трудами нажитым добром, обмотать всеми верёвками, какие нашлись в доме, чтобы не валились наземь узлы да коробки, накустылял по шее возчику, что плохо утягивал верёвки, сам расселся в господской коляске, и они тронулись в путь. А перед тем, как тронутся, Мирча изрядно отхлебнул из красивой барской бутылки и храснул бутылкой о белокаменную ограду усадьбы. Бутылка разбилась, остатки «NEGRU» потекли по стене, будто кто-то кровью плесканул. А когда Мирча и его караван скрылись за горой, из-под крыши господского дома повалил дым. Видно, управитель напоследок придумал какую-то хитрость, чтобы дом сжечь. Галаган предположил, что Мирча поставил горящую свечу в чашку с керосином. А когда свеча догорела, керосин и пыхнул. Так или не так дело было – сказать трудно. Но усадьба выгорела вся.

Учительница Авдотья Сергеевна, хотя и из «бывших», сказала, что остаётся и никуда не поедет – не к кому. Мыкола Галаган решил судьбу не искушать. В селе знали, что он служил у белых и вернулся после того, как вместе с Врангелем отступил из Крыма, помирал с голода на Галлиполи, а потом через Болгарию добрался до дома, до хаты. Кто такие большевики – знал не понаслышке. Засобирался и о. дьякон.

Правда, непонятно на чём ехать и зачем - тоже непонятно. Но тут выяснилось, что его ошибка во время ектеньи – вовсе и не ошибка. Погибшего Государя и Наследника-Цесаревича Алексея Николаевича – ангела светлого о. Демид не мог вспоминать без слёз. Неожиданно большие, светлые слёзы и сейчас текли из его маленьких, подслеповатых глаз, скатывались по глубоким складкам, идущим от носа, и заблестали в его изредившейся от возраста седой бородачке. Гликерия, подававшая на стол самовар и всё, к чаю полагавшееся, не понимала многое из сказанного. Да и кто понимал происходящее?. Может быть, один о. Гавриил. В эти дни он как-то разом изменился, словно кто-то незримый наложил на глаза его тяжёлую печать. Разом не стало обычной улыбки доброжелательства, казалось, постоянно живущей в серых его глазах. Выше сделался лоб. На полноватом лице вдруг обозначились скулы. Губы стали как бы жёстче и холодней. Он, выслушал собравшихся и, помолчав, сказал просто и даже как-то буднично:

- Я остаюсь.

- Отец Настоятель! Милая душа! Отец Гавриил! - завмахивал руками дьякон затряс бородой, смешно тыча пальцем в дужку очков, сползающих с носа. – Это же большевики идут! К ним в руки - аки ко львам на растерзание! Не согласен! Не согласен!

- Большевиков в России не осталось, - мягко возразил о. Гавриил, - Вот, читайте: Сталин под корень извёл всех главварей: И Зиновьева, и Каменева, и Бухарина . И Троцкого прибрал. И венгерского Белу Буна, и мерзейшего Радека, и Стеклова-Нахамкеса... – о. Гавриил положил ладонь на русскую газету, которую выписывал из Парижа. – Мы остаёмся.

- Во! – в сердцах воскликнул Галаган. – Трохи не розумию! Це ж звери... - Когда он волновался, переходил на ломаную свою мову.

- Люди. – просто, по будничному ответил о. Гавриил. – Стало пасомое. А я пастырь. Пристойно ли пастырю бросать пасомых, когда, как вы говорите, звери лютые приближаются.

- Как же службу без меня вести? – продолжал волноваться дьякон.

- Сыновья помогут. Старший - Савватий, да и младший - Сергей наизусть службы выучили. Так, дети мои?

Сыновья, присутствовавшие при разговоре, только головой в ответ кивнули.

- Так и я ж тогда останусь – сказал дьякон. Бог не выдаст – свинья не съест.

Гликерия слышала разговор. Но за столом не присутствовала. Она подавала самовар, чашки, стакан в тяжёлом подстаканнике о. Гавриилу. Подала также сливки в молочнике и любимые всеми баранки. И, хотя о. Гавриил сделал рукой приглашающий жест, за стол не присела - что-то куксился сегодня Богданчик. Да и не понимала она толком, что происходит и что вскоре должно измениться в привычной картине окружающего её мира. Какие-то русские? Они какие-то иные. Не такие, как она, о. Гавриил, или старенькая учительница? Что за красная армия? В красных рубахах что ли? Чем она будет отличаться от румынских солдат? Что вообще изменится? Вчера сорвали портрет короля со стены в примарне, и Шлёмка-портной наподдавал портрет ногой, топча его у всех на виду. А люди боязливо оглядывались по сторонам и втягивали головы в плечи. Мимо шли, шаркая ногами, румынские солдаты. Они даже головы не поворачивали в сторону беснующегося носатого и пейсатого Шлёмки. Хотя ещё неделю назад и самому Шлёмке, и его замуранному и голопузому восьмерному выводку, и жене Мотл, и прочей шлёмкиной родне, да и не родне також, не сдобровать. Евреев в селе достаточно – было кого громить, только повода пока, слава Б-гу, не находилось. Многомудрый Рав Ицхак пытался вразумить Шлёмку, поостеречь его, но тому всё было нипочём. Шлёмка уверился, что грядёт новая, совсем благодатная для всех евреев, жизнь. И уж совсем ничего не знал и не понимал подросший Богданчик. Он уже стоял и даже пытался ходить. Но пока чаще падал в заботливо подставленные мамины ладони. Страшненьким он рос, тем не менее, необыкновенно ласковым ребёнком. После того, первого причастия, сделался ему люб о. Гавриил, да и священник отвечал ему лаской. Он сажал Богданчика на колени и тот перебирал волосы бороды. Но более всего любил смотреть прямо в глаза батюшке и смотрел, не отрываясь,

пристально, не мигая, будто ожидая чего-то; Слова ли какого, иного ли знака, или нечто такое, что словами не передаётся. Священник также не отрывал глаз, и ему казалось, будто единственный прямо глядящий глаз ребёнка, будто водоворот, утягивает в себя, в некие непостижимые глубины всё, что узрит. И его. священнослужителя также захватывает и зовёт. А куда? Да разве мальчик, лишенный речи, ответит! Но о. Гавриил знал: часто Господь именно таким убогим посылает особые ведения и умения, которые обычный человек растраниживает попусту, потому что многоречив и одержим похотями мира сего. Сам себя он также корил за некие пристрастия к удобствам жизни и даже к роскоши. Поехавши как-то в Плоешти, купил, например. целых три пары обуви. Из них одна – штиблеты лаковые, в которых, особенно в непогоду, и пройти по селу нельзя. Но купил, соблазнился блеском острых носов. Хотя, по совести сказать, ничего удобнее простых крестьянских постолов для ног своих отекающих не знал. Но дьякон, любивший посибаритствовать за чашечкой горячего шоколада с сигарой в руке наотлёт, усовестил, сказавши, что негоже настоятелю храма ходить в мужицкой обувке.

А назавтра поток румынских пехотинцев в землисто-зеленых мундирах и островерхих картузах истончился, а затем и вовсе иссяк. Какое-то время дорога была пуста. А потом из-за леса выехал танк, Он постоял, пошарил тонким стволом пушки, будто принюхивался, а потом – хррррррр - стал спускаться к селу, расположенному у реки в низине между двух холмов. За танком на гребне холма возник грузовичок. В кузове видны были люди в светло-зелёной военной одежде. Грузовичок также на момент приостановился, а затем покати́л вниз, волоча за собой пыльное облако. Следом за первым показались другие. Гликерия выскочила из двора с Богданчиком на руках. Очень уж ей хотелось посмотреть на красную армию, но ничего красного она спервоначала не увидела. Но когда грузовичок остановился возле дома, она всё-таки увидела красный цвет на околыше фуражки человека, сидевшего рядом с водителем в кабине. И звезда на околыше также была красная. У солдат в кузове, одетых в форму цвета выгоревшей на солнце осенней травы на

островерхих шапках также были красные звёзды и красные язычки на отложных воротниках рубаш.

- Красавица! – улыбнувшись, обратился к Гликерии курносый человек, сидевший в кабине, - Водичка холодненькой не найдётся ли часом, бойцов напоить?

На красных петлицах его гимнастёрки прикреплены были красные же эмалевые квадратики

Загорелое лицо запылено, но тем ослепительные сверкали белые крупные зубы, тем ярже просияли неправдоподобно синие глаза, каких во всём селе было не сыскать..

- Да – только и сказала Гликерия. – Да-да-да!

А бойцы уже соскакивали из кузова на землю и буквально в считанные мгновения столпились возле ворот..

- Проходите, - пригласила Гликерия, открывая калитку, ведущую во двор. А во дворе о. Гавриил, хэкая, рубил дрова.

- А дом чей? – проходя в калитку вслед за Гликерией, спросил голубоглазый

О. Гавриил всадил колун в дубовый чурбак и стоял, молча, разглядывая входящего.

- Дом батюшки нашего, отца Гавриила

- Поповский... ясно. То-то я смотрю – железом крыт. А ты попадья?

- Нет. Я так... по дому.

- Ясно. Прислуга... А он? – Голубоглазый кивнул в сторону о. Гавриила, вышедшего колоть дрова в простецкой косоворотке навывпуск, старых латанных штанов и постолах. – Работник? Поп-то сбежал, поди, когда услышал про Красную Армию?- И голубоглазый раскатисто захохотал.

- Позвольте представиться, - басовитее, чем обычно, сказал о. Гавриил – митрофорный протоиерей Гавриил, здешнего храма настоятель. А вы кто будете?

- А мы – Красная Армия! Лейтенант Точилин. Освобождаем вас от оккупации румынской. Притормозили вот с бойцами воды попить. Найдётся? Что же это вы, гражданин поп, сами дрова рубите? Или батрака нет?

- Люблю, грешник, это занятие... Гликерия! Угости господина офицера и стрелков молоком.

- Ха-ха-ха! Отвыкать надо от таких глупостей, гражданин поп. У нас и господ нет, и офицеров всех перевели... Мы – Рабоче-крестьянская Красная Армия! Ясно?

Сколько всего потом случилось. сколько лиц промелькнуло, но Гликерия помнила и помнит это отчётливое, короткое, рубящее «Ясно» и лейтенантские глаза неистойвой голубизны.

А следом началось то, что и должно было начаться. Именно об этом предупреждал дьякон. Воскресным утром во время литургии в храм вошёл Шлёмка-портной и прямоком проследовал в алтарь, где о. Гавриил уже держал в руках потир. Войдя через Пантелеимоновский придел, Шлёмка вышел к людям уже через главные Царские Врата. Замолчали, оторопев, певчие. Шлёмка выглядел, можно сказать, франтовато. На нём были выходные брюки, которые он сшил для лавочника Чеботаря, но не отдал заказчику ввиду коренной перемены в жизни. Брюки явно великоваты субтильному шведу, особенно в районе пуза. Но не отдавать – это уже дело принципа и классового подхода.. Пришлось, правда, подпоясываться верёвкой, но веревка не видна была из-под подола сорочки всё того же лавочника

- Ша! – Сказал Шлёмка и поднял вверх ладонь с толстыми короткими пальцами. Отменяется всё. И Христос ваш отменяется. Оторопевшие прихожане молчали. Следом на амвон поднялся Хриша. Назвали его когда-то при крещении Григорием. Начинал он ладным хлопчиком, пока не вырос и не вошел во вкус вина. С той самой поры жизнь его делалась веселей, а следом и вовсе развесёлой. Ушла жена, уведя троих деток. Крыша у хаты истончилась и стала проседать, как спина у старого кобеля. Работать, даже по дому, Григорий забросил – не считать же работой охрану виноградников и сада, на которую нанимал его за харчи Мирча. Жил беспечно, потому как не помнил, что с ним происходило только что, и даже соседей забывал. Встречал человека, с которым буквально час назад сталкивался на улице, широко, сколько позволяли набрякшие веки, раскрывал удивлённые глаза, протягивал вечно невымытую руку для здоровканья и представлялся просевшим голосом: «Хриша». Он всегда был пьян или навеселе, а когда и трезв – всё одно, как пьяный, но

в эту страшную и для него минуту поразительно трезв и бледен, как свежепобеленная стена хаты.. Видно, и его пробирал страх или иное, ему самому непонятное чувство. Хриша протянул руку и вырвал у стоявшего столбом о. Гавриила потир с причастием.

- Давай, - поощряющее сказал Шлёмка.

Хриша одним махом осушил серебряный потир и рукавом утёр щетинистый подбородок, по которому пробежала красная струйка из уголка рта.

Молящимся показалось, что сейчас произойдёт что-то такое-такое: гром ли грянет, Хриша ли замертво рухнет, Шлёмку ли подхватит вихрем и выметет из церкви. Но ничего не случилось, если не считать, что на лицо Хриши разом вернулась обычная багровость. И тут же, следом рядом со Шлёмкой и Хришей возникла девица-комсомолка, прибывшая в село днями откуда-то с востока. Она уже успела собрать деревенскую молодёжь в школе, куда приехала учительствовать. Говорила долго, горячо, рассказывала про комсомол и советскую власть, что теперь пришла надолго, навсегда.

- Товарищи, - сказала учителька. – Пора закрыть этот очаг мракобесия. Хватит, товарищи!

Кто-то возле свечного ящика громко всхлипнул.

- Расходитесь граждане! Хватит слушать попа, который был в услужении у короля, поминал его, молился за румынских оккупантов.

- Неправда ваша, госпожа хорошая! – по-особому громко среди общего молчания пробасил седобородый – до пояса борода - дед Пантелей - всегда, во время крестных ходов носивший хоругвь. – наш батюшка русский и за Россию был всегда.

- Да-да , - слышались голоса верующих, словно бы оттаявших после слов Пантелея.

- Русский, говорите? – учителька возвысила голос до фальцета. Никаких русских. Это всё в прошлом. Теперь мы все советские, товарищи! Совет-с-кие! Или кто-то хочет, чтобы румыны вернулись? – Никто из стоявших в храме не хотел возвращения румын и потому ропот поутих. – А вы, гражданин поп, шли бы отсюда подобру-поздорову.

Гликерия во все глаза смотрела на о. Гавриила. Ей казалось, что сейчас он одной рукой столкнёт и Шлёмку, и Хришу с амвона, а учителька, испугавшись, сама сбежит вниз и ринется из храма напролом через верующих, вставших стеной.

- Братья и сестры! - голос священника звучал спокойно. - Пришло время не просто верить, но страдать за Веру Христову. - о. Гавриил сошёл вниз с осквернённого амвона и встал среди людей. Верующие отхлынули, образовав круг. - Я вас не неволю. Поступайте сообразно своему разуму, но помните: всякому даётся по вере его. Он немного помедлил и начал: «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым» - Отец Гавриил произносил «Символ Веры» тихим голосом, будто про себя. Но почти сразу слова подхватили те, кто стоял рядом: «видимым же всем и невидимым». А за первыми зазвучали иные, дальние голоса: «Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего с небес...»

- Эй, вы там, прекращайте! – попытался было что-то сказать Шлёмка, но его голос потерялся среди звука общей молитвы. Тут бы и Хрише встрять, но он уже сквозанул в алтарь в поисках церковного вина и несметных поповских сокровищ.

А о. Гавриил продолжал: «распятого же за ны при Понтистем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшего в третий день по Писанием». Гликерия, стоявшая подле креста с фигурой распятого Христа, вдруг поняла, что повторяет слова за о. Гавриилом. Слёзы неостановимо наворачиваются на глаза и текут по её щекам. И всё вокруг: и огни всё ещё горящих свечей, и людские лица, и золотое шитье митры о. Гавриила – всё словно омывается её слезами, двоится и дрожит .. И все вокруг плачут.

4

Меж тем, Салтын вновь отправился в поход. А куда пошёл Салтын? А, и правда, куда? Но, кто его спросит? Кому он ответит? Кто поймёт его ответ, если вдруг, вопреки врождённому косноязычию, заговорит? Да и нужно ли кому

понимание этого, то ли человечка, то ли зверка какого-то в облике получеловеческом. Те, кто встречал его впервые, смотрели на него испуганно и недоумевающее – как такое могло передвигаться по земле. Пообвыкшие уже не пугались. Но всё равно всякий раз содрогались. Некоторые взирали с жалостью. Но всё же чаще сокрушались о бедной матери, наказанной неизвестно за что и несущей теперь крест за непонятные грехи. А встретивши вдругорядь, уже и не думали, не сокрушались, но пропускали мимо сознания, как пропускают нечто такое, мимо чего проходишь по необходимости житейской: покосившегося ли вконец дома, собачьей погадки на дороге, или праздно текущих потоков воды в придорожном кювете, что возникают во время внезапно налетевшего щалого июльского ливня и с ним же вместе бесследно исчезают, будто их и не было. Но это всё домыслы да пустопорожние рассуждения. А мы отправимся вослед за Салтыном. Он прошел вдоль станции и дальше по дороге меж насыпью и чахлой посадкой, долженствующей в зимние месяцы защищать колею от снежных заносов. Его не взволновала табличка обочь пути справа, настоятельно призывающая машинистов локомотива в преддверии станции не сифонить и закрыть поддувало. Далее, метрах в ста - неохраняемый переезд, обозначенный столбом с укрепленным на нём белым треугольником, на котором ехал куда-то нарисованный одинокий паровоз. Салтын пересёк путь. Солнце нагрело рельсы. Они змеились, поблёскивая. От шпал шёл острый запах креозота. Издалека подал сигнал паровоз, тащивший состав уголька. Стрелочник дядя Игнат, пропускавший такие составы на проход, всегда после прохода его через стрелку, напевал песенку, которую по радио не пели: «Уголь воркутинских шахт ярким огнём горит. Каждый кусок угля кровью шахтерской полит». А за переездом дорога шла через увал. За увалом же находилось же то самое место, куда Салтын в первый раз забрёл случайно весной, но затем повадился забредать каждую субботу. За увалом расположился лагерь немецких военнопленных. Это было пространство, исключённое из окружающего мира, столбами в два кола с туго натянутой на них колючей проволокой. Всё чин по чину. Вышки с неусыпно бдящими часовыми, и стоящие

рядком бараки, и постройки хозяйственного и производственного типа, в которых происходила шпалопропитка новых шпал, отчего запах креозота над зоной был необычайно густ. Здесь же здание комендатуры с большим портретом Генералиссимуса на фасаде, глядящего в надмирное никуда, и в то же самое время, по-отечески проникающе на каждого, кто осмеливался поднять глаза и дерзновенно встретиться с ним взглядом. Ва рядом – казармы солдат караула. Жители райцентра и станционные по этой дороге не ходили, ибо нельзя. А Салтын ходил. Собаки охраны, так же, как и всякие прочие, на него не лаяли, хотя он приближался к самой колючей проволоке и даже мог её потрогать. В первый раз на него предостерегающе закричал часовой с вышки. Из ворот даже вышел начальник караула и лично убедился, что имеет дело со слабоумным уродцем, а не со злоумышленником и диверсантом, успокаивающе махнул рукой часовому на вышке. Хотя в принципе, мог и застрелить любого, проникшего в запретную зону вокруг лагеря. И застрелил бы. И никто бы его не осудил, а, может быть, получил бы и благодарность по службе за проявленную бдительность. Но начкар жил в райцентре и встречал там Салтына. С одной стороны, можно и должно стрелять. И, милосерднее бы. выстрелить, чтобы отмучился парнишка раз и навсегда. В конце концов, скольких он по служебной надобности отправил в это самое «навсегда» за свою долгую, собачью, но столь нужную стране энкаведешную жизнь! Но и он не без сердца. А Салтын усаживался прямо на землю и неотступно смотрел на изображение Генералиссимуса. Зачем? Почему? Да кто его знает... Усы ли тому виной, китель ли с погонами, звёздочка золотая ли... Опять никто не скажет, о чём думает маленький уродец со станции Горелый Ям.

Той порою, из барака вышел, тяжело ступая, немец, похожий на жердь, в серо-зелёном, изрядно повыцветшем мундире и военном картузе. Барак этот был меньше других, потому что обитатели в нём долго не заживались, Больничный это был барак. Тот, кто сюда попадал, очень скоро оказывался уже за лагерной оградой на кладбище, устроенном с чисто немецкой аккуратностью. Только крестов на кладбище не было, но лишь деревянные колышки с дощечкой, на

которой не значилось ничего, кроме набора цифр, выжженных при помощи специальных металлических штампов. Те, кто попадал в барак, знали свои номера и предполагали некоторый порядок убытия, не совпадавший очень часто с арифметическими расчётами. Вот и этот немец должен был, согласно порядковому номеру, уже давно найти своё упокоение в земле, которую его послали завоевать. Но смерть за ним медлила являться. Поэтому он выползал на лавочку около барака, прокашливался, отплёвывался и доставал из кармана губную гармошку. Закрывши глаза, он начинал дуть в неё во все остатки своих лёгких. Для настоящего звука сила дыхания маловата, но всё же, звук явственен и для часового на вышке и для Салтына, всякий раз оказывавшегося именно напротив больничного барака. Когда немец играл свои немецкие мелодии, Салтын замирал, закрывал глаза и даже покачивался в такт музыкальным всхлипам. Через некоторое время из барака выходил человек в белом колпаке и халате с завязочками на спине. Музыкант покорно прекращал игру, прятал гармошку в карман и возвращался в барак. Вставал с земли и Салтын и брёл в сторону станции по пыльной дороге, освещаемой красноватым закатным солнцем.

И откуда бы знать убогому мальцу и чахоточному немцу, и всем, всем прочим, даже и совсем важным, вроде районного начальства, и много повыше, что в то самое время, пока немец выдувал остатки своих лёгких через губную гармошку, а Салтын слушал её пристанывающие звуки, далеко, за две тысячи километров отсюда, сам товарищ Сталин размышляет над очередными цифрами, что представил ему генерал-полковник с несколько одутловатым лицом. Сталин прочёл вложенную в папку служебную записку, встал из-за стола и, мягко ступая, пошёл по кабинету. Генерал-полковник смотрел на товарища Сталина вослед профессионально-преданными глазами, словно оглаживал взглядом сутулые плечи генералиссимуса, а сам отметил про себя, что генералиссимус начинает сильно сдавать: эта растущая лысина на затылке, эта увеличивающаяся сутулость, а оттого всё более заметные лопатки, совсем по-старчески прорисовывающиеся сквозь тонкое сукно кителя. А товарищ Сталин в сей миг

вспомнил, что всесильный генерал-полковник, выдвигенец Большого Мингрела, чуть более десяти лет назад числился мелкой сошкой, уполномоченным в экономическом управлении НКВД. И только чудом уцелел, когда его разнагишавшегося застукали на конспиративной квартире с одной вполне голой гражданкой и выяснилось, что подобные встречи он проводил регулярно, и таких агентес у него было изрядное количество, благо мужчина он видный, при хорошем пайковом питании. С возрастом и положением размордел, но выглядит вполне справно. Цифры, напечатанные на лощёной бумаге, были такими, что смотреть и вдумываться в них совсем не хотелось. Но, приходилось и смотреть, и вдумываться. Выходило, что самый высокий процент предателей, сотрудничавших с немецкими оккупантами, относительно общей численности людей данной национальности был среди русских, за которых он, Сталин возглашал тост на торжественном приёме в Кремле после Парада Победы. Полтора миллиона, именно полтора миллиона русских несли службу в вермахте. Кто-то стрелял, а кто-то рыл окопы, строил блиндажи, подвозил боеприпасы. Немцы звали их Хильфсвеллите – для русского языка непроизносимое слово, а потому просто ХиВи – добровольные помощники. Это были по большей части именно добровольные враги, настоящие, реальные. Без них, этих людей, этих прихвостней вряд ли бы Гитлер смог продержаться так долго. И это была весомая добавка к тем врагам, которых перед войной ежовыми рукавицами по его же сталинским указаниям душил наркомнедомерка. Тогда было даже проще. Те, тогдашние были на виду. Они, выпячивая груди, сверкали орденами, охотно живописали свои заслуги перед революцией, чванились близостью к Ленину, или, по крайней мере, к ленинским идеям... Большевики, твою мать! Идиоты! Знали бы они того, истинного Ильича! Того, полупарализованного, злобного хорька, изолированного в Горках и надиктовавшего письмо к съезду, чтобы съезд убрал его, Сталина с поста Генсека. Не вышло у него, ничего не вышло... Тех, орденосных почти и не осталось. Почти... А этих, новых врагов было многонько. Сколько насчитали люди генерал-полковника? С этими надо, бичо, что-то делать. Но русские - не чечены. Их не

выселишь в Казахстан. А тут ещё и хохлы... Сразу вспомнился Влас Чубарь и его гекающий хохлацкий говор. Тоже враг. Выступал против него, Сталина на семнадцатом съезде. Гадёныш. Вот уж кого не жаль было расстрелять! Враги, враги... Тяжело жить с этой занозой. Да с что там с занозой – с колом, всаженым в самое сердце. Семьдесят миллионов человек на оккупированной территории... Жили и уживались. Приспосабливались. Смирялись. На портреты Гитлера любовались. Никогда так много русских ни сотрудничало с врагом. К тому же, сдавшиеся в плен.... Густовато, генацвале... И сын его, боль его – Яша также стал врагом, когда живым сдался в плен. И Васька... Васька-пьяница... Не случайно он приказал не выпускать Ваську в небо – а вдруг собьют, а вдруг плен. Два сына в плену – это, Коба, слишком. А ещё Светланка... Любимая-разлюбимая дочь. О, щени твали...! Куда глядели твои глаза, Иосиф, когда она спуталась с этим грязным еврейчиком Каплером? Тоже, если вдуматься, изменщица. Ему лично изменила... Кругом измены. И цифры, цифры! Он знал, что генерал-полковник, пришившийся за его спиной, готов, как собака кость, схватить зубами любое его указание и понестись с рычанием, исполняя порученное с той же ретивостью, с какой искал, находил и уничтожал шпионов и паникеров, трусов и предателей во время боевых действий. И эти цифры Сталин также знал. Хорошие цифры, стахановские. Тоже со многими нулями. Враги, враги... Он выпотрошил две папиросы «Герцеговина Флор» в трубку, умял табак пальцем, прикусил мундштук желтоватыми, прокуренными зубами, чиркнул спичной, затянулся и, достав трубку изо рта и указав ею на лежащую бумагу, спросил глуховатым своим голосом:

- Что делать будем делать с этими людьми, товарищ министр?

Генерал-полковник знал эту манеру Усатого спрашивать, как бы советуясь. Но на самом деле, он вовсе не нуждался в совете, а всего лишь выводывал направление ума собеседника. И внутренне торжествовал, когда спрашиваемый не угадывал заранее известный только ему ответ. Он знал, как эти люди трепещут, боясь не угадать волю Хозяина, и не угадывая. Впрочем, и мучительный процесс угадывания его,

Сталинских мыслей также доставлял ему удовольствие. Он вспомнил, как однажды на даче в Абхазии, ещё перед войной, он задал вопрос Климу относительно его мнения о маршале Тухачевском и, дожидаясь ответа Клим, заметил враз потемневшие от пота подмышки ослепительно-белого кителя Первого Красного Офицера. Ворошилов тогда ответил правильно. Матерью клянусь, правильно. Ответил с той самой интонацией в голосе, которая свидетельствовала о дорогом стоящем умении казаться искренним.

- Будем через сИта пропускать, товарищ Сталин. Выявим всех: И кто крупнее, и до самой мелкотни дойдём. План работы будет представлен вам на утверждение.

- Именно всех.

- Так точно, товарищ Сталин. Разрешите идти?

- Идите. Работайте.

И уже на выходе из кабинета генерал-полковника догнали слова генералиссимуса:

- И на конспиративные квартиры времени не тратьте, товарищ министр. – Сказал, как в затылок выстрелил.

А на станцию Горелый Ям прибыл поезд-коротышка, именуемый «Барыгой». Но на сей раз, к составу прицеплен товарный вагон, на котором написано «Вагон-Лавка». Это обычный двухосный пульман, крашенный зелёной краской. Вагон принадлежал железнодорожному ОРСу и обслуживал строго железнодорожников и никого более. По прибытии, вагонная дверь с повизгиванием отъезжала в сторону, и становились видными стеллажи с поддонами, на которых рядами лежали зажаристые кирпичи знаменитого своим вкусом железнодорожного хлеба, заводившегося на хмелевых дрожжах. В райцентре такой вкусный хлеб не пекли, а который пекли в тамошней пекарне, выходил клёклым, да и его всегда не хватало всем. Хлеба в Вагоне-Лавке хватало в обрез только своим покупателям, потому что пекли его строго по количеству работников и сопричастных им едоков, известных орсовскому начальству и продавцам заранее. О железнодорожниках заботились. А иначе как? Не позаботься - дорога встанет и страна встанет. Ещё в продаже всегда водился сахар-рафинад в синей бумажной упаковке,

перевязанной бёчёвочкой. Но также строго по списку. Без особых ограничений отпускали фруктовый чай – упакованные липкие брикеты, спрессованные из мелко накрошенных сухофруктов с добавкой черешков и даже некоторого количества веточек. Салтын очень любил грызть такие брикеты своими острыми зубами – лакомство для него неизъяснимое – потому-то Надюшка взяла сразу три брикета. А ещё она прикупила катушку чёрных ниток и круглую коробочку зубного порошка. И, конечно же, лакомство из лакомств – развесную каспийскую хамсу – солёную до ужаса, но вкуснющую Хамсою торговали в развес из бочки. Продавщица Лушникова такую торговлю не любила – вечно после руки не отмоешь, а куда деваться – велено торговать, да и не без прибыли. Она взвешивала хамсу на весах и самым бестолковым отпускала в бумажные кульки, тут же промокавшие и начинающие расползаться. Однако, опытные хозяйки приходили со своими ёмкостями: стеклянными и жестяными. Лушникова резво поигрывала разновесами и не без пользы для себя – кто там разглядит разницу в десяточек-другой граммов в её пользу. Она отвешивала и отвешивала, а хлеб и фасованный товар отпускал завлавкой Митрофан Крашенинников – сухопарый человек в ладно сидящем путейском кителе, но без погон. Двадцать минут, пока стоит «барыга» - не велико время для торговли. Однако, без покупки не оставался никто, в том числе и кассирша Лядова, подходившая последней, после того, как обилечивала всех отъезжающих. Она брала своё, положенное, а ещё пару баночек крабов, которых никто кроме неё никогда не брал. И непременно бело-коричневую пачку молотого кофе «Желудёвый», в котором кофе тем не менее непременно присутствовало и делилось с напитком своим неповторимым ароматом, скрашивающим кислостый вкус желудей. Лядова не без оснований считала себя единственным на станции человеком умственного труда и потому полагала, что некая толика кофе способствует быстроте счёта. Наконец, дверь вагона затворилась. Сразу после этого дежурный по станции ударял в колокол. Паровоз издавал высокий – фистулой - гудок, делал «Пафф» и «Барыга» следовал до следующей остановки.

Вот тут-то Пал Петрович Кафтанов и тормознул Надюшку, уже надкусившую хрусткий уголок хлебного кирпичика и собравшуюся нести покупки в свой закуток за кубовой. Сам он никогда в лавке не отоваривался, хотя мог за просто это сделать. Но это было немыслимо при его-то усах, портупее и револьвере на гарусном шнуре. За покупками ныряла Точила, а он стоял на перроне и соблюдал порядок при осуществлении законной торговли, дабы никто не посмел подумать или что-либо умыслить. Никто!!!

- Пойдём со мной, - сказал он и зашагал по перрону, даже и не оглядываясь.

И она пошла послушно, хотя надо бы хамсу срочно нести домой - рыхлая обёрточная бумага уже напиталась солёной жижей и жижа эта начинала пощипывать пальцы, натруженные сегодняшними стараниями по зачистке сортирной живописи. В кандее своём Кафтанов уселся за стол, громыхнув стулом, и приказным тоном предложил Надюшке присесть. Она послушно уселась на табурет, стоявший напротив стола. Потом встала, положила хлеб и другие покупки на кафтановский стол, сдёрнула с головы платок, постелила его на казённую лавку. Сложила хлеб на платок, и, держа в левой руке кулёк со злополучной хамсой, опять присела на самый краешек табурета, привинченного к полу.

А товарищ Кафтанов раскрыл свою Амбарную книгу и, умакнув перо в чернильницу, спросил у Надюшки голосом вполне милицейским, официальным имя её, отчество и фамилию, будто не знал

- Так вы же знаете
- Фамилия, имя, отчество и год рождения, гражданочка
- Моё?
- А чьё ещё.

Не к добру были эти вопросы, да ещё таким тоном. Ох, не к добру! Слава богу, память не подводила, и она назвала себя так, как числилась по справкам, с которыми прибыла на станцию Горелый Ям. Но вопросы прозвучали, следовательно, предполагали некое сомнение.

Надюшка, она же Гликерия, за свою короткую жизнь хорошо усвоила всю каверзность самых, казалось бы, простых

вопросов. Люди в форме всегда начинают с простого. А завершиться может совсем непросто. И, словно опять завращался перед её глазами тот давний речной водоворот, в который она погрузиться вместе с сыном и от которого спас её о. Гавриил. тот самый водоворот. чорторый, как называли его по-украински в селе. Тот, который утянул на дно самого о. Гавриила.

Тогда подле дома священника дома из запылённого грузовичка вылезли трое в синих гимнастёрках, А с ними и сельский милиционер, которого в просторечии все именовали по-прежнему стражником. Гликерия предположила, что эти тоже решили испить колодезной воды. Но приехавшие были совсем другие, не такие, как тот голубоглазый командир Красной Армии, первым прибывший в село. Эти напрямиком прошли в дом, не постучавши, не отёрши сапоги о половичок и не спросив позволения зайти. Гликерия тетёшкалась с Богданчиком в беседке, увитой виноградными лозами, и напевала ему дурашливую считалочку, загибая крохотные его пальчики:

«Уну, дой, трей, патру, чинч,
 Мама коаче аливинчъ,
 Аливинче де мынкат,
 Фужь ындате ла спэллат!
 Уна, доуэ,
 Шапта, ноуэ.
 Саре клошка де пе оуэ.
 А сэрит ши а фужит,
 Ту ешьт бун де амижит».

Славная такая считалочка. Они всегда её распевали с девчонками, когда играли в прятки. Молдавская считалочка, про маму, испёкшую вкусные пироги. Но кто разделял языки в многоязычном их детстве, в селе, где испокон века жили - не тужили рядышком и русские, и украинцы, и молдаване, и цыганы и евреи. Хотя главным всё равно считался язык короля – румынский. Язык барский, государственный и все важные дела велись на румынском, и только на нём.

Приехавшие вошли и Гликерия с ребёнком на руках поспешила за ними следом.

- Ты поп? – спросил один из вошедших – судя по всему, старший - о. Гавриила, коленопреклоненно молившегося в своей келейке

- Я священник, здешнего храма настоятель. – не вставая с колен, и не поворачивая головы, отозвался о. Гавриил.

- Кончай свою тягомотину, гражданин Алексиюк. Мы за тобой. - А ты кем ему приходишься – спросил он у Гликерии.

- Я... я.

- Прислуга. – ответил за Гликерию о. Гавриил, вставши с колен.

- Прислуууга! О, как! Затежливо живёшь, поп! Поди, и за работу не платишь?

- Он платит, платит, - вступилась за о. Гавриила Гликерия.

- А сыновья где?

- На речке. Рыбачить ушли.

- А ну, сходи с ней, - приказал он милиционеру. – Найди пацанчиков и приведи.

Но идти не пришлось. В тот самый момент дверь отворилась, и вошли и Савватий, и Сергей.. Младший держал в руках удочки, а старший – кукан с нанизанной рыбой:

- Мы голавчиков, папа... - и оцепенели, всё разом понявши...

Стоит, стоит перед глазами Надюшки-Гликерии давняя эта картина. А милиционер Кафтанов продолжал расспросы. Пришлось рассказывать про город Никополь, откуда она, якобы, родом. Благо в Никополе с сыном некоторое время она обреталась, нищенствуя. И про сдачу крови красноармейцам тоже рассказала, как по писанному, благо, пару-тройку раз и сама кровь сдавала, чтобы подзаработать. И про ту часть биографии, которую она позаимствовала в торбочке, доставшейся ей по случаю от товарки по несчастью, спрыгнувшей с грузовой платформы за хоть какой-нибудь водой и на Гликерьиных глазах зарезанной поездом, что тронулся по соседнему пути.

Когда Красная Армия выбила немцев и румын и погнала на запад, Гликерия поняла, что оставаться в селе и часа нельзя. Слишком много грехов было на ней пред Советской

властью. Прислуживала румынам? Прислуживала! А немцев помогала кормить? Кормила! А с немцем Вилли жила? Да всё село про это знало! А отчим Фёдор сам по себе дорогого стоил... Спас её престарелый, мхом покрывшийся бывший дьякон о. Дмитрий Петра. Спрятал с Богданчиком на горище ветхой своей хаты. Неделю они ховались. А потом племянник бывшего дьякона ночью вывез на телеге Гликерию и сына в сторону уезда. Пешком они шли полями и, наконец, вышли к железнодорожному разъезду. А там забрались на платформу с битой- корёженной военной техникой: и немецкой и русской. Поезд шёл на восток, увозя железо, всё ещё пахнувшее порохом и горелым человеческим мясом на переплавку. Там, в кузове немецкого бронетранспортера они и затаились. Надо было спастись от власти и её слуг. А их милости известны. Она хорошо помнила, как уводили о. Гавриила и мальчиков. Так она начала свой долгий путь вглубь страны до станции Горелый Ям.

На вопросы милиционера Кафтанова она гладко и сама поражалась, как здорово (прости, Господи!) научилась врать. До того гладко, что Кафтанов даже заскучал, потому что дело с выявлением и поимкой сомнительной личности, а следовательно, вполне возможно, скрытого врага, а следовательно, с возможным повышением по службе, просто-таки утекало из рук. Он продолжал задавать вопросы, запутываясь в подробностях и видя, как солёная юшка вконец разъела пакет, что держала в руках сидевшая перед ним Надюшка. Он, собственно говоря, впервые так долго с ней беседовал, да и вглядывался впервые – раньше-то что вглядываться; уборщица и уборщица, вечно с грязной тряпкой, да в застиранном сером халате. А теперь он и коленки углядел под юбкой, и грудки аккуратненькие, оттопыривавшие самосшитую блузку, и руку, которую она держала, оставив, чтобы солёная юшка не капала на подол. А юшка капала помаленьку на пол. И милиционер Кафтанов увидел разбившиеся эти капли, и она увидела, что он увидел и заперевживала, потому что Кафтанов был аккуратист невероятный. Она мыла полы у него в кандее и сразу заметила эту его привычку не

оставлять следов своего пребывания, не то, что телеграфист Мышкин – кашляльщик и курильщик.

- Иди, - сказал Пал Петрович, - отнеси свою рыбу. Потом я тебя призову, когда надо будет. – И вздохнул не без облегчения, потому что допрос – это, оказывается, покруче вышагивания по перрону и разгону баб, ходивших вдоль поезда в обнимку с укутанной кастрюлей горячей варёной картошки на продажу. У него от напряжения даже спина вспотела.

- Я сейчас затру, затру, - засуетилась Надюшка. – Вот рыбу положу и с тряпкой прибегу. У неё и от сердца отлегло, потому что она помнила, чем и как закончился разговор с о. Гавриилом давешних людей в форме.

- Собирайся. Поедешь с нами! - сказал старший о. Гавриилу, после того, как в доме всё было перевернуто вверх тормашками во время обыска. Гликерия с ужасом наблюдала, как милиционер привёл в дом всё того же Шлёмку и незнамо как подвернувшуюся под руку тётку Параску в качестве понятых. О. Гавриил сидел за столом, положив тяжёлые свои руки на столешницу. Сыновьям он приказал пойти к себе в комнату. Но энкаведешник не позволил, и они также сидели за столом, противу обыкновения притихшие. Обыск начали с келейки. Внимательно осмотрели и саму келейку и иконы все до одной. Икону Казанской Божией Матери в серебряном окладе разглядывали особо пристрастно и даже ножом подцепили оклад, дабы убедиться, что под окладом ничего не спрятано. Вывалили на стол из саквояжа всю церковную утварь, с которой о. Гавриил ездил по домам исповедовать и соборовать больных и немощных. Почему-то одного из обыскивающих заинтересовало кадило. Он даже обнюхал его, а потом достал из коробочки кусочек иерусалимского ладана и поджог его в кадиле. Ладан курился, в окно бил свет садящегося уже солнца, и лучи пронизывали клубы дымящегося благовония.

- Никитченко, - не без укоризны в голосе сказал старший, - ты ещё попроси попа, чтобы он спел чего-нибудь подходящее.

- Ага, - ухмыльнулся в ответ Никитченко, - Щас споём хором, - и запел: - Вихри враждебные веют над нами. Тёмные

силы нас злобно гнетут... Знаешь, поп, слова? Давай – подтягивай.

Гликерия видела, как набухли, чернея, вены на кулаках о. Гавриила. А затем и лицо посвинцовело

- Хватит дурковать, Никитченко! – скомандовал старший, - Займись лучше книгами.

Никитченко полез в шкаф и начал вытягивать с полок том за томом. Сперва он тряс книгу, проверяя – нет ли чего-либо спрятанного меж страниц. Потом разламывал книгу в любом месте, вглядывался и произносил: «На поповском языке». Значит, ему попадала в руки Псалтырь на церковнославянском или «Лествица». Убедившись, в поповском характере книги, он бросал её и другие подобные на пол. Добрался и до Пушкина:

- Значится, товарищ старший сержант, книги с ятями, до-революционные. Но Пушкин.

- И что, что Пушкин? Раз с ятями, значит царского времени. Пиши, Сероглазов, в изъятые. Наверняка все революционные стихи царями вымараны. Кидай до кучи..

- Я жеж говорил, говорил - засуетился доселе молчавший Шлёмка. – Одна тут контрреволюция. До добра вы ещё не добрались. Таки увидите, сколько у него разного... Если у всех наших всё сгрести, то и то столько не наберётся, сколько у него одного в доме... Сколько всего разного – это жеж в ум не помещается!

Милиционер участия в обыске не принимал. Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, и молча наблюдал за происходящим. Тётка Параска глаза таращила, слова не проронив, против обыкновения быть во всякой бочке затычкой, но Гликерия поняла, что ею владеют множество чувств: и нестерпимое любопытство и страх да, пожалуй, ещё и жадность, а дальше – поди, разберись! Всё-таки в поповском доме действительно водилось много вещей. Но страх в глазах Параски перешибал даже и жадность. От румынских стражников и жандармов можно было отбожиться, отовратиться, откупиться. А здесь... тётка Параска сразу поняла, что с этими в фуражках с голубыми околышами, не сговориться. На пол летели и Салтыков-Щедрин, и Достоевский, Мережковский и Шмелёв и всякие другие просто за то, что напечатаны

были по старой орфографии. Но подлинное торжество наступило, когда Никитченко добрался до русских газет из Парижа. Вот где была настоящая, чистой воды контра. И начальствующий, и Никитченко, и Сероглазов впились глазами в тускловатые строчки. О! То была из улик улика! Не просто поповщина и мракобесие, но нечто иное, основательное, тянущее на связи с белоэмигрантским отрепьем. А тут начал гомозиться Богданчик.. Он завсхлипывал, потом стал взрѣвывать, извиваться, будто освобождаясь от незримых пут, а там и вовсе забесновался, зашелся в крике – Ааааа! Гликерия испугалась вовсе; так точь-в-точь было, когда она подносила сына ко причастию, когда его терзали незримые бесы. Вослед Богданчику захныкал и младшенький – Сергей.

- Сергей,- неузнаваемым, вовсе загустевшим голосом сказал о. Гавриил.- Сергей! - И это были первые и единственные слова за всё время обыска. Младший тут же прекратил хныкать, а Богданчик всё продолжал блажить. Наконец, лейтенант не выдержал и приказал Гликерии выйти из комнаты вон. Она вышла на кухню. А потом и вовсе на крыльцо. На улице дело шло к грозе: всюду светило солнце, но где-то совсем рядом погромыхивал гром. На свежем воздухе Богдан немного успокоился, только всхлипывал как-то по-особому горестно. Что он понимал? Или ничегошеньки не понимал, а только слышал учащённое сердцебиение матери? Или не глянулись ему громогласные пришлецы? Или надвигавшаяся гроза пронизала воздух электричеством, и он ощущал, как перетоки зарождающихся огненных струй, пронизывают его насквозь и свиваются в страшный клубок. И кто-то неизвестный всё туже запутывает и его, и маму, и о. Гавриила, и всех, кто внутри дома, и всё это бессарабское горемычное село, и весь мир вокруг в этот огненный клубок. А он, маленький уродец, ощущает своим сверхчутьём, что миру этому суждено оставаться прежним совсем немного времени. Но, высказать свои прозрения ему не было дано, ибо уста его запечатаны кем-то свыше.

Наконец, о. Гавриила вывели на крыльцо. В руках у него был саквояж. Он остановился подле Гликерии, перекрестил её, Богдана, было, хотел что-то сказать, но Сероглазов

рукою, в которой держал револьвер, пихнул его в спину: «Иди, поп, иди». Чуть не упав со ступенек, о. Гавриил зашагал к машине. По команде всё того же Сероглазова, закинул саквояж в кузов, а затем сам, ступив на колесо, подтянулся и довольно неуклюже перевалился через борт. Из-за руля вылез водитель с пистолетом наизготовку. Он принялся караулить арестованного, а старший сержант с подчинёнными и милиционером начал выносить из дома книги, подшивки газет и ещё что-то увязанное в простыни и насованное в наволочки. Всё вынесенное также отправлялось в кузов, в котором, понурив голову, сидел священник. На крыльцо вышли оба плачущих сына, но сержант командовал войти в дом и они послушались. О. Гавриил крикнул Гликерии: «Присмотри за ребятами. Я скоро вернусь». Тётка Параска и Шлёмка также вышли из дома.

- Ты, товарищ, председатель Сельсовета, присмотри, - сказал старший, обращаясь к Шлёмке, - чтобы из дома ничего не пропало. Это теперь народное достояние.

- Я жеж понимаю, товарищ... Э...

- Старший сержант Шило. Запомнил? Всё понял?

- А эти? – Шлёмка кивнул головой в сторону двери дома.

- Это – не вопрос, товарищ. Решим. – Он уселся рядом с водителем. А его подручные и милиционер залезли в кузов.

И машина стронулась с места.

- Пошли домой, - зашипела Параска Гликерии.

- Меня о. Гавриил просил за сыновьями присмотреть до его возвращения.

- Найдутся смотрельщики и без тебя. Пошли. - Тётка потянула Гликерию за подол юбки. Там отец вернулся.

- Какой ещё отец?

- Ну, братка мой Хвёдор – отчим твойный. Советска власть смилостивилась, из тюрьмы освободила, как от режима пострадавшего.

Из дома вышел, нырнувший туда Шлёмка. В руках он держал штиблеты о. Гавриила:

- Это теперь народное достояние. Я жеж ничего другого. Только штиблеты! Они ношенные...

- Тогда я корову возьму с телком. Как уплату за труды.

- Чии ж труды - взвился, было, Шлёмка.

- Еёхные труды, девочки моей, бедолаженьки! Трудилась? Ещё как трудилась! А денег тебе поп не платил?

- Нет, - ответила Гликерия. – Ни разу.

- Вот! - И тётка решительно направилась к сараю.

- Тётя Параска! А сыновьям молока?

- Ишь ты, ишь ты! Работала и не заработала. Да, поди, он ещё тобою и пользовался! Небось, и ночи не было, чтобы ни покрывал. Его, хряка, за версту слышно. Даром, что усы седые, да рожа поповская, кабанячья. Ксплуататор!

- Таки если пользовался, - промямлил Шлёмка, сражён- ный доводами Параски. – Тогда – да...

Срамно это слышать от тётки, отличавшейся даже и усердием в недавние времена и не пропускавшей церковные службы. Но после того, как храм был безнаказанно осквернён, у многих сельчан на душе, словно кобели да суки свадьбу справили. Вот и у тётки Параски також – что это за бог, когда такое против себя попускает.

Шлёмка пытался что-то ещё бормотать про то, что не потерпит самоуправства, как представитель власти. Но где ему в одиночку совладать с разбушевавшейся Параской. И он побрёл домой, прижимая к груди желтые поповские штиблеты, о которых недавно и мечтать не смел. Гликерия осталась на крыльце с Богданчиком на руках и смотрела, как тётка, намотавши на рога новую крепкую верёвку, повела со двора корову-кормилицу, а за ней следом пошёл и телок.

5

Мартемьян Егорович обошёл всю станцию. Зачем-то даже взобрался по лестнице к оголовку станционной водонапорной башни и с верхотуры оглядел и железнодорожные пути, знание вокзала, пакгауз, крашенный всё той же «железнодорожной» краской, зданьце водогрейной и пристанционный посёлочек. Всюду наблюдался полнейший ахтунг. Единственно, возле его домика на приусадебном участке ничего не зеленело. Да и с чего зеленеть: жил он бобылём, в

огороде не копался, живности не держал – пяток кур да петух – не живность, а забава, когда петух всхочет курицу потоптать, а потом закукарекает победоносно. Хотя и не без пользы: парочка-троечка яиц на сковородку - утром милейшее, самое холостяцкое дело. Всё, кажется, хорошо. Но и не всё. Скверный осадок на душе остался после разговора с Кафтановым. Вроде, и водки выпили. А всё равно привкус от той водки какой-то не такой, не водочный, не русский... Отдаёт будто бы ромом немецким, трофейным – как они, треклятые такое пойло хлебали! Тут дело и в самом по себе приходе Усатого. И в тяготящем разговоре о Надюшке. Ишь, озаботился чем! Бедолага, горемычная, с пацанёнком своим... Сколько сейчас таких по стране после войны, треклятой этой войны, блевотины военной, трупных пятен, разрухи, немощи, калеченых, давленных, рубленых, стреляных, растерзанных, по земле размазанных танковыми гусеницами! Вот он, мужик в полной силе, кажется, а бессилён. И вся его немочь - это тоже война, дрянной осколок попрыгунчика - немецкой противопехотной мины. Шарах – и нечем ему бабу умастить, чтобы она раскинулась вся и застонала тем особым стоном, слаще которого для мужика, мнится, нет звука на свете. Он сразу приметил эту беженку, бродяжку, как только она появилась на станции Горелый Ям. Ему и не надо было много разглядывать да кумекать, а только взглянуть ей в глаза. Разик всего и удалось, потому что глаза она скрывала, уводила в сторону, пряталась за своего мальчонку, отгораживалась пацанёнком своим горемычным от людей, дабы не лезли в душу со зряшными расспросами. Но он сразу, однозначно и бесповоротно понял: ничего и никого ему больше от жизни не надобно. Только она, её глаза и она, она сама и только она и ничего больше. Он полюбил её сразу и ошеломительно. И тем страшнее муки мученические, что терзали, особенно ночами, когда оставался он один на один со своим уродством. Совесть ему было, но не мог он удержаться и, вроде бы по служебной надобности, надзирал за её трудами по уборке станционных помещений. Кажется, готов был подойти, обнять, отфутболив поганое ведро, отбросить мокрую тряпку, которой замывала она грязь да харкотины, и целовать ей до

умопомрачения. А затем увести домой, в свой казённый домик, и мальчонку взять за руку и усыновить. Но он сдерживался, давил, млял в себе это желание. А всё потому, что дальше, дальше-то что? Что, я спрашиваю, уважаемый Мартемьян Егорович? Что? Если даже по малой нужде сходить, он должен был, как баба присаживаться. И-эх!

А теперь этот... Все они... Ходят, вынюхивают, выискивают... Нюхачи. .. Самое первое в жизни впечатление, впечатанное в память, жившее с ним постоянно, хотя ничего такого по малолетству не мог, не должен был помнить, разгадал Мартемьян Егорович в сорок первом, под Оршей, впервые увидев, как оседает земля, взметнувшаяся вверх после взрыва немецкого фугасного снаряда. Именно снаряды так же начали рваться возле их дома, когда мать с ним на руках, тяжелая сестрой, усаживалась в подводу среди узлов. А отец в казачьей фуражке с синим околышем, тянул со двора, взявши под уздцы, испугавшуюся лошадь. Именно тогда за спиной отца вырос разрыв, и отец, тщетно пробуя удержаться на ногах, стал оседать и повалился на посечённую осколками лошадиную голову. Именно с той поры, с самого раннего детства запомнил он взметнувшуюся землю и нечего более. Но тут, под Оршей после взрыва вспомнилось всё: и брюхатая, неуклюжая мать, и гибнувший отец, и обнажившиеся крупные конские зубы, по-особому ярко сверкнувшие сквозь кровь, залившую посечённую конскую морду. Именно там, под Оршей, во время обстрела все недосказанности матери, его смутные видения, таившиеся в самой глубине души, вдруг сплелись в одну картину, и она восстала из памяти неожиданно яркой, полноцветной и до конца понятной. Он вдруг разом осознал, что вспоминался ему обстрел бронепоездом красных казачьей станицы, откуда он родом. И, вспоминая, что память не должна удерживать за давностью и тогдашним его малолетством, он в то же самое время видел, как по просёлку вдоль железнодорожного пути, пытаясь перехватить и остановить их путевую монтажную станцию, мчится немецкий мотоцикл с коляской. А сидящий в коляске фашист строчит из пулемёта по движущемуся составу, и Мартемьян Егорович, стараясь прицелиться из своего ТТ по мотоциклу в наивной надежде попасть, боковым

зрением скорее угадывает, нежели видит, как цепочка пулевых отверстий в стене вагона приближается к нему. Он почти понимает: надо бы упасть и затаиться ниже уровня этой строчки. Но съезжает на пол только тогда, когда пуля попадает в грудь и, теряя сознание, запечатлевает в памяти кровь, мгновенно пропитавшую комсоставскую его гимнастёрку, и оставляющую влажно-красный след на изрешеченной стене вагона, цепляясь за которую он сполз на пол. Это было первое ранение, от которого осталась ямка на груди справа, чуть повыше соска.

Мартемьян Егорович сразу учуял, что с Надюшкой не всё ладно – сам из таковских. Тогда, после потери отца, они чудом каким-то, или с чьей-то подмогой – он не помнит – сели в поезд. Ехали долго и доехали до городка на берегу густо-солёного моря. Там и зацепились, осели среди азиатцев, потому как пришло время рожать и сразу же хоронить дочь, умершую почти тут же после рождения. Но и этого в памяти не осталось, зато остался запах и вкус сушёной азиатской дыни, смешанный с ароматом вяленых и подкопченных усащей и лещей. В этом было спасение от голода, а, следовательно, жизни, как таковой. Обретались они согбенно среди русских, державшихся за «железку», как они называли железную дорогу, не претендуя на жизнь во весь рост. Мать научилась косноязычию, ибо только оно и спасало от лишних расспросов, хотя расспросы были. Со всех сторон заходили. И по официальной части, и как бы со стороны, в надежде на чисто бабью простодырость. Но чем настойчивей сильничали, выведывая, чем масленее втиралась одна шибко задушевная подруженька, тем больше и больше междометий вплетала в свою речь и без того малоразговорчивая мать. С дуры и спрос, как с дуры. Она никогда не вспоминала счастливую свою, сытую жизнь в станице, словно и действительно не помнила, словно вышиб всю память тот разрыв снарядный, что уложил мужа-есаула в густую, темную кровь сражённой тем же снарядом лошади. И сыну она ничегошеньки, ни синь пороха, не рассказывала – берегла, пестовала доброе семя на развод. Только вечерами напевала не в голос, а одними губами, прильнув к уху, казачьи песни, баюкая, словно наколдовывала. И откуда-то знала ведь, что

именно песни сохраняют память, а потом помогут восстановить всё, даже то, что казалось навеки стертым. А когда Мартемьяшенька её засыпал, губы её, и без того сухие от безмужней жизни, и вовсе становились вконец сухими. Она молилась, вверяя Господу свою судьбу и судьбу сына. И Он слышал этот шелестящий шёпот. И давал то, что просила, что мог дать по вере её. Вот и не добрался до них смертный голод, никакая не скосила сына лихоманка, не спознал никто, что родом они из проклятого, уничтожаемого беспощадно сословия. Растила его мать, растила, пока ни вырастила, пока не пошёл он хлеб зарабатывать самостоятельно на Дорогу в бригаду, занятую ремонтом путей. Тут мать и преставилась, ушла за своим ласковым есаулом в те поля, на сенокосы, где когда-то, в совсем иной жизни в первый раз встретились они горячими губами. Да так тихо покинула земную жизнь, словно из барака за водой вышла. И дверь за ней не скрипнула.

У Салтына же новая затея. На станцию прибыл вагон. А в вагоне – жмых с маслозавода. Понаехали колхозники на подводах. Жмых гружён россыпью. Его затаривают в рогожные чувалы, и мужики, побрякивая, взваливают чувалы на загорбок, накрыв голову и плечи порожним мешком, как капюшоном. Затем чувал укладывается в повозку. Повозка отъезжает к пакгаузу и там чувалы взвешиваются на весах – всё согласно разрядке. Разгрузка идёт споро. Салтын стоит в сторонке, под ногами не путается. Смотрит. Наслаждается запахами жмыха, конской упряжи, льющейся конской мочи, махорочным духом, идущим от возчиков, вплетающимися в привычные запахи железной дороги от горячего железа нагретых на солнце рельсов и шпал. Отдельно пахнет серо-зеленый щебень – и этот запах уж точно не улавливает никто, кроме Салтына с его почутким носом. А ещё запахи, которыми пропитан ветер, врывающийся на станцию Горелый Ям со стороны степи. А там чего только нет: подсыхающее разнотравье, где допреж всего чабрец да зверобой, желтеющий подле березового колка. И сусличьи норы, пахнущие зверячьими погадками. Но прежде всего – жмых! Его так много в вагоне. Но как быстро он исчезает в

чувалах! Салтын, однако, верит, что его не обойдёт удача. Так оно и выходит. Улучив момент, когда надзирающий из райсельхозуправы отошёл за вагон по нужде, рабочий, затаривающий чувалы, манит мальчонку пальцем и подаёт добрый комок жмыха. Салтын, хотя и без торбы, подставляет подол рубахи и ворчит удовлетворённо: «салтыбын». Надо понимать, что это спасибо на его, салтыновом наречии и в подол сыплется довесочек. Придерживая подол левой, он правой рукой хватает кусочек жмыха и начинает облизывать и угрызать лакомство. Спрессованные семечки и шелуха маслянисты и сладковаты. У вагона он больше не настырничает, не задерживается. Переходя пути, проверяет: нет ли поезда, и поспешает к себе. А дома мама уже почистила хамсу: поотрывала головы рыбёшкам и отрезала горбушку хорошо пропечённого ноздреватого хлебного кирпичика. Что-что другое, а хамсу Салтын любит дл беспамятства. Он берёт рыбку за хвостик и, запрокинув голову, втягивает в рот, даже и причмокивая. Съедает всю. Вместе с позвоночником и прозрачным хвостиком, не забывая откусывать от горбушки. Он уже забыл запах давешнего хлеба, намазанного топлёным маслом и посыпанного сахарным песком, которому позавидовал. Да, и правду сказать: никакому маслу с сахаром не сравниться с пряным, одуряющим запахом черноморской хамсы пополам со свежим пеклеванным хлебом, буквально дышащим хмелевыми дрожжами. Такой расчудесный хлеб заводят и выпекают орсовские хлебопёки на узловой станции. А Надюшка, пока Салтын наслаждается хамсой, добавляет в куб воды и начинает расшуровывать топку. Скоро через станцию по расписанию пройдут два почтово-пассажирских поезда. Расписание таково, что они встречаются именно в Горелом Яме. И тут начнётся: побегут пассажиры с чайниками за кипятком. Почтари, те не бегают, поскольку у них в вагонах есть, где чай вскипятить. Но знаменитую на всю дорогу воду запасают впрок - хорош на этой воде чаёк!

Мартемьян Егорович спохватился, что водогрейку-то он и не посетил, не удостоверился в полной благонадёжности вверенного ему станционного хозяйства. Так он убеждал

себя в необходимости по службе заглянуть туда, куда путь заказан. В самом-то деле: начальник он или не начальник? Или ему кто-то что-то скажет поперёк? Или не прибывает грозное руководство, новая метла? А вдруг? А вдруг и сюда нос сунут? А запросто! Начальство умеет заглядывать туда, куда и не подумаешь. Он вспомнил: в сорок четвёртом в Белоруссии около их поезда, стоявшего на разнесённой в пух и прах станции, остановился «виллис» члена военного совета армии. Тучный генерал, не вылезая из машины, поманил Мартемьяна Егоровича пальцем и спросил: «Как устроились?». Выслушав рапорт, всё-таки выкарабкался из машины и, покряхтывая, полез в вагон. Дёрнул же его чёрт! А в вагоне, как назло, насвинячено и не прибрано, потому как двое суток, не переставая, лил дождь, пока они мудохались, укладывая заново путь, взорванный не то партизанами, не то немцами и, кажется, вся земля на сапогах пожаловала в вагон аккурат перед явлением начальства. А тут ещё обнаружилось, что в вагоне нет портрета Верховного Главнокомандующего, и Боевой листок не выпускается. Ой, чё было! Чё было! Чуть он лейтенантских погон ни лишился...

Мартемьян Егорович понимал, что проживание Надюшки с сыном в водогрейной, как ни крути, противозаконно с точки зрения санитарии и гигиены. И, вышагивая по перрону, думал: начальству соображения милосердия покажутся явно нештатными - не война же - и надо предложить ей на время хотя бы - он уговаривал сам себя - перебраться в его казённый дом, благо, площадь позволяет - две комнаты и кухонька. А ему от лишних разговоров можно и у себя в кабинете заночевать на диване, хотя жестковато будет - диван-то деревянный с вырезанными буквами НКПС на спинке. Надо бы ей предложить. А вот как предложить? Как? Какими словами? Это только с виду кажется простым делом, но если язык немеет от одного только присутствия подле этой маленькой женщины, которую Лядова как-то пренебрежительно обозвала обмылочком хозяйственным... Смехота; Он, боевой офицер, три ранения, а боится. Кого? Чего? А себя и боится. И это вовсе не смешно. Женщины бывали в его жизни. Одна только Варварушка чего стоит! Он вспомнил, как иступлённо, с подвываниями она целовала

его ночью, накануне отправки на фронт. И принимала снова и снова, словно хотела до самого донышка опростать мужскую его силу.

В обиталище Надюшки он вошёл, предварительно стукнув костяшками пальцев в дверь - всё-таки жилое помещение, хотя и служебное.

- А я у вас, Надежда... Э...

- Ивановна, Ивановна, - заторопилась Надюшка. Глазам она своим не поверила. Да и как поверить; Где она, а где начальник станции? Она всегда цепенела, завидев его подле себя. Попервоначально, не придавши значения, начала напрягаться, заметивши не раз и не два его равнодушие к трудам своим незамысловатым. Испугалась, подумавши, что работой её он недоволен и предположила даже некую каверзу со стороны кассирши Лядовой. Хотя, неужли сдобной кассирше в зависть половая тряпка за таковскую зарплату? В этом смысле, хвататься за дужку ведра – это просто смех. Можно и плюнуть и отжаловать Лядовой ведро с помоями. Но возможность, наконец, не скитаться с больным ребенком, иметь крышу над головой и некоторую толику душевного спокойя – за это стоило держаться ей, гонимой и, скорее всего, разыскиваемой там, на родине, в далёком от сих мест, бессарабском селе. Об этом, только об этом она молила Господа. Но совсем смутилась, когда поняла, что Мартемьян Егорович вовсе не из служебной надобности наблюдает за ней. Как и всякая женщина, она учуяла, углядела потаённое его вожделение, хотя никогда он не выглядел приставучими и путейскую фуражку с перекрещенными молоточком и французским ключом на околыше надвигал по самые рыжие брови. Но подлинно глаза ей отворила кассирша. Она, как-то улучив момент, когда в вокзале никого не было, а Надюшка топила голландку в зале ожидания, соскочила со своего места в кассе, вышла в зал и, возвысившись рядом с Надюшкой, присевшей перед печной дверцей на корточках, сказала тяжело, по-бабьи, с оттяжкой: «Отвязни, сука от него, не то, сука, я тебя урою». И повернувшись, скрылась в кассе за дверь, обитую железным листом, захлопнув изнутри зарешеченное кассовое окошко, и там, укрывшись от чужих, как ей казалось, завидующих глаз, зарыдала в голос. Но даже и

тогда, ни о чём таком, тем паче, любовном, помыслить Надюшка не могла, не хотела, и хотеть не желала. Боялась себя самоё. Только молилась, перебирая бесчисленное число раз слова иисусовой молитвы. Она знала, что осквернена, проклята навеки. Даже простая плотская радость, без которой почти невозможно жить на свете любой, даже самой разэтакой бабе, для неё заказана. Сама себе она воспретила думать об этом, хотя думала, что там скрывать, думала. Чать, живая... Именно поэтому и уходила в молитву, в смирение, в заботу о несчастном своём, Богом данным сыночке. Монашествовала во миру. Жила тем, что постоянно вспоминала звук шагов и покхекивание о. Гавриила, поспешно спускавшегося к ней по глинистому обрыву к реке. И его слова вспоминала: «Дочь моя, ты ведь мне нужна», в тот самый момент, когда готова была наложить на себя руки и сына жизни лишить. Но более всего тяготилась невозможностью открыться душой на исповеди, исторгнуть из себя все скверны. Даже те, о которых знала только одна она.

- Вот, - сказал Мартемьян Егорович, - надо бы тебе отсюда съехать на время. А то – нарушение получается. – Он осмотрел помещение и сердце его сжалось от убогости увиденного; Топчан, накрытый тряпицей, стол – он же шкаф. На столе кружка эмалированная с побитой эмалью, початая хлебная буханка. И всё. Всё!

Сердце Надюшкино подскочило к самому горлу и рухнуло вниз. Только что случился разговор с милиционером Кафтановым, от которого она отдышаться не успела, занявшись Богданчиком да расшуровкой печи. А тут новая напасть. Да не напасть, но беда из бед. Куда же, куда же ей съезжать, когда никого нет, кто приютил бы её, дал кров? У неё разом слова всех молитв вылетели из головы. И даже слёз не стало, хотя слёзы – есть первое спасение женщины от любых невзгод. Салтын же, учув неладное, напрягся и ощерился, по-собачьи вздёрнув верхнюю губу.

- Да ты не бойся, - продолжил Мартемьян Егорович. - Уедет начальство, и опять заселишься. А то меня вздуют за антисанитарию. Пока же на пару дней ко мне. В дом.

- К нему в дом? К нему? В дом? - Она забыла это слово с той самой поры, когда бежала из села.

За два дня до прихода Красной Армии снялись все, кому оставаться в селе было никак нельзя. Первым снялся отчим, утопивший в нужнике свою полицейскую нарукавную повязку. Побежали румыны и вся их челядь. Опять, увязавши вещи, снялся с нагретого места Мирча на совсем маленькой повозочке, запряженной одвуконь. Дольше других держались немцы из конторы, но и они побежали, да так заполошно, что Гликерия только диву давалась: куда пропала их вальяжность и невидящие взгляды из-под лакированных козырьков. Офицеры втиснулись в большую легковушку. А все чемоданы, бумаги, не сожженные в печке, какие-то узлы уложили в кузов грузовичка. В кузов, кряхтя и от натуги припукнув, залез дядюшка Вилли и трое солдат-охранников с винтовками. Дядюшка Вилли до последнего уговаривал Гликерию ехать с ними, суля кары небесные на её голову, когда придут большевики. Он знал, что говорил. Всё село каждый день, и по многу раз, перемывало ей косточки за то, что она не ушла из дома бывшего священника, но продолжала прислуживать немцам, убираться по дому и помогать надевшему форму толстому фольксдойчу Вилли на кухне. Однажды, когда офицеры были в отлучке, он завалил её на сундук с продуктами, зажал рот ладонью, пахнувшей луком и изнасиловал. В потом продолжал это проделывать постоянно. Это было омерзительно, она плакала навзрыд. Но тётка Параска, как ни странно, уговаривала её терпеть и не кобениваться. Мол, плетью обуха не перешибёшь, от тебя не убудет, ничего не сотрётся. А те продукты, что давал Вилли, лишними не будут. И хотя продуктов было не так и много, но всё-таки были. А некоторые девушки-односельчанки даже завидовали её пристроенности. Тогда немногие верили, что Красной Армии удастся одолеть немцев. А Вилли её по своему обиходил, требуя взамен не так уж и много – всего лишь сопротивления и даже царапанья – это его возбуждало. И вот теперь он звал её с собой в фатерлянд – очень уж ему было с ней привычно и сладко. Гликерия отказывалась. Он опять пытался уговорить, даже и за руку ухватился. Но тут что-то рявкнул главный немец Кнут, и караван из двух машин тронулся в гору по дороге, уводившей на юго-запад.

Машины уже почти поднялись на гору, отчаянно сигналили и заставляя сторониться, а то и вовсе съезжать на обочину повозки румынского армейского обоза. В этот момент послышался приближающийся самолётный гул. Сколько краснозвездных прилетело, Гликерия счесть не успела. Вдруг изпод самолётных крыльев вырвались короткие палочки с огненной оторочкой на хвосте и стремительно повлекли за собой в голубом небе черные пышные перья. Палочки достигли земли на горе и ударили в дорогу, как раз там, где находились машины. Земля вздыбилась, звук разрывов долетел до Гликерии через несколько секунд, а когда земляные столбы осели, уже не было слышно самолётов, на дороге - не видно двух машин, да и военных румынских повозок изрядно поубавилось. Словно небесная метла разом смахнула машины, лошадей и людей, что сидели в машинах и повозках и правили лошадьми.

- Ну, договорились? – Мартемьян Егорович не столько спрашивал, сколько утверждал им решённое. - Да и пацанёнку твоему получше будет. Правда, Салтынчик? – И он погладил жёсткие вихры мальчика.

- Ыыыы! - ответил Салтын. Его ещё никто из чужих никогда-никогда не гладил по голове. Только мама. А благословляющую ласку о. Гавриила он не помнил за малостью тогдашних своих лет. Но поглаживание сына Надюшка приметил. Она хорошо знала – его жалеют, содрогаясь, люди за уродство, но всё больше на расстоянии. А вот касаться боятся, полагая, что беда и уродство переимчивы, как зараза. Надюшка пыталась возразить, да как-то неуверенно. Уговорились, что после прохода почтово-пассажирских и ближе к ночи, когда в пассажирском движении образуется окно, Мартемьян Егорович поможет им перебраться в свой дом, благо имущества, как такового, кот наплакал. Он уже и уходить собрался, а парнишечка ухватил его за руку. Мартемьян Егорович подхватил Салтына на руки, а тот не воспротивился, хотя Надюшка знала, как он страшится чужих рук. Салтын вдруг прильнул к Мартемьяну Егоровичу. А потом отстранился и пальцем потрогал шрам, рассекающий бровь. И вдруг Мартемьян Егорович ощутил: можжение, нудьга

эта, отравлявшая ему жизнь с самого раннего утра, а, пожалуй, и с ночи, начала будто бы втягиваться в палец пацанёночка. Сначала, как канат, а дальше – тоньше, тоньше, затем совсем истончилась, а последняя и вовсе - бестелесной ниточкой вышла. Прояснило в голове. Салтын отнял руку от шрама. Надюшка увидела, как посветлело лицо Мартемьяна Егоровича, исчезла, разгладилась складка над переносицей. Может, потому, что долгожданная гроза, отворотила в сторону и не заплещутся над Горелым Ямом молнии, и не будет барабанищих крупных капель по крытой железом крыше вокзала, и не ощутят они острого запаха пыли, взвихривающейся перед самым обрушением ливня. А жаль: по грозе и по дождю все истомились, ожидая – второй месяц ни капли. Товарищ же Кафтанов забеспокоился: не шла Надюшка, или как её там? И тогда он сам зашагал по перрону, будто бы проверяя наличие отсутствия нарушения правил пребывания посторонних лиц на вверенной территории, но, тем не менее, в самый конец перрона к зданию, увенчанному дореволюционными буквами. Задержка с явкой напрягла-таки его воображение; Он живо представил, что сейчас эта женщина в топке сжигает следы своей вражьей деятельности. Что это за следы – можно обнаружить только на месте сокрытия следов. Но то, что такое возможно, он не сомневался нисколечко. Подойдя к Водогрейной, он рванул дверь на себя и оторопел. Ну, никак не мог он себе предположить, что встретит здесь начальника станции с непокрытой головой и уродцем на руках. Пугающий вопрос, которым он хотел ошарашить и пригвоздить преступницу, прилип к зачерствавшему вмиг языку. Ему сразу вспомнилось доверительное шипение кассирши Лядовой, почти открытым текстом сообщавшей о поползновениях уборщицы в отношении Начстанции. А тут вот они: шерочка с машерочкой - уродец не в счёт.

- Таак! – только и сказал товарищ милиционер Кафтанов.

6

Детей о. Гавриила на следующее утро забрала та самая учительница, что вдохновляла разгром храма. Пришла

раненько вместе с милиционером. Паточным, липким каким-то голосом сказала ребятам, что поедут они к отцу. Велела одеться, а Гликерии помочь собрать узелки в дорогу. И Савватий, и Сергей одевались молча, зачерпнули ложичку другую каши, заведённой на остаточке молока, и проглотили, давясь, по круто сваренному яйцу. Сами, было, начали собирать вещи, но учительница одёрнула, когда Гликерия подала большую корзину – незачем, мол, не навеки едут. Да и вещицы надобно собрать по-отдельности. Не разрешила положить в узелки фотографию покойной матушки. Именные иконки также отобрала. Слава богу, за пазухи не полезла – крестики пооборвать с гайтанами. Пока продолжались сборы, Богдан сидел, безучастно наблюдая за происходящим. Что он думал? Кто знает? Но ведь думал что-то, хотя мог вполне не думать. Сидел истуканчиком. Когда к дому подошла машина, явился и Шлёмка в великоватых ему поповских штиблетах, так что пришлось с носки штиблет мятые румынские газеты наталкивать. Как-никак, он таки был теперь властью. Новой властью, вознамерившейся обратять окружающую жизнь прочно и надолго. Той властью, с которой раз и навсегда шутки плохи. А кто не обременен пред любой властью разными виноватостями, какая бы власть, как погода, ни была на дворе? При прежней виноват тем, что беден и короля не чтит. При этой - что богатый, да и происхождение - из самой скверны ушедшего времени. Вот почему Шлёмка был торжественнее бывших поповских штиблет. Правда, Мотл – жена Шлёмки, когда он, чувствуя себя победителем до умопомрачения, принёс подмышкой поповские штиблеты, била его этими штиблетами по спине и даже по голове дважды попала за то, что он – ипиш- кусок – польстился на чужое, тем более, поповское. И от этого ему, идиёту, ждать чего-то кошерного не приходится, и всем евреям заодно. Или он не помнит, как это бывает? Тогда, когда всем евреям плохо? Или ему мало его честного ремесла, которое кормит их, слава Б-гу?

Заслышав машину, все встали, и сыновья пошли из дома, каждый со своим узелком. Но прежде, чем шагнуть за порог, обернулись и перекрестились на разорённую и оскверненную келейку, в которой все иконы были сняты со

стены во время обыска и составлены на пол. А потом подошли к Богдану и поцеловали его, перекрестивши. А Савватий и вовсе: погладил по голове и поцеловал троекратно. И всё молчком. Сергей же, следом прижался ко Гликерии и всхлипнул, но осёкся. Лица у ребят были сосредоточены и сделались совсем взрослыми. Стали они разительно похожи на о. Гавриила. И не просто внешне – и до того, как две капли, а выражением лица, с которым тот сидел за столом во время обыска.

Что думал, что чувствовал Богдан, узнать было невозможно. Однако, и чувствовал, и понимал, раз из глаза показались слёзы. Он плакал, но молчмя.

- Тётя Лика! – обратился к Гликерии Савватий. – Если папа вернётся.. если мы разминёмся... скажите, что мы... что тоже... что нас... увезли. Он тогда нас тогда разыщет и возьмёт.

- Поторапливайтесь, поторапливайтесь! – учительствующим тоном подгоняла мальчиков Геля Харлампиевна. Вообще-то её звали Ангелиной. Но, ей самой такое имя казалось слишком недореволюционным, за что она прямо-таки проклинала и мать свою Агрипину, и бабушку Любаню, потащивших её, туго спеленатую и несознательную в храм окрещивать. Потому, войдя в возраст, решительно обрубила всякие намёки на ангелов. А если кто так её называл, она смотрела, будто из нагана прицеливалась.

Наконец подошли в машине. В кузове сидели незнакомые дети. Похоже, что машина подбирала их по другим сёлам. Там было четыре девчонки и восемь разновозрастных мальчишек. Прокатиться на машине - дело небывалое и шикарное. Но не так, но не на этой. Сидючи вместе, они были каждый наособицу. Каждый со своей неизвестностью. Савватий и Сергей забрались в кузов и оттуда смотрели во все глаза на дом, на Гликерию.

- Тётя Лика! – произнёс тихо-тихо маленький ещё Сергей и заплакал. Следом заплакал и Савватий. Вторя им, заплакали и другие дети.

- Ехай же, ехай! – прикрикнула учительница на сидевшего рядом с водителем мужчину в кепке с большим козырьком, надвинутым на самые глаза.

Машина хыркнула, пустила дым из трубы и покатила по дороге в сторону города.

Всё!

- Здесь, товарищи, теперь будет сельсовет. – ножевым голосом сказала учительница. - Наша советская власть

- А вдруг отец Гавриил вернётся, - спросила Гликерия. – Ему тогда где жить?

- Не вернётся, товарищ...

- Гликерия я...

- Не вернётся, товарищ Гликерия. Не вернётся. Прошлой жизни конец бесповоротный. Соломон Израильевич, - обратилась она к Шлёмке и Гликерия впервые узнала, что к теще-душному портному можно обращаться столь велеречиво. - Всё поповское реквизируется. Будем раздавать бедным. Комиссионно. А над ломом, Соломон Израильевич, надо флаг поднять. Красный! – Учительница говорила, как стреляла. - Дом зачистить. Иконы все эти... А ты, товарищ, - обратилась она к Гликерии, - будешь за домом следить. Убираться и всё такое. Понятно? – И не дожидаясь согласия, добавила. – Ты же из бедной семьи. Поп тебя эксплуатировал. И холуй помещичий тебя обидел, - она ткнула пальцем в Богдана, - этим наградил. Я всё знаю, товарищ. Мы обиды не допустим, раз ты жертва прежнего режима. А потом и в комсомол примем.

Так, можно сказать, в одночасье закончилась, прежнее мирволение. Привычное слово «господин» словно на грузовике увезли. Зато взамен, как ветром нанесло, слово «товарищ». С виду, хорошее, даже доброе. Вот только грузовики, которые увезли о. Гавриила и сыновей его, по-недоброму взрыкивали.

Работа в сельсовете Гликерию устраивала. Она позволяла не быть дома, куда вернулся отчим Фёдор. Из румынской тюрьмы он привёз заработанную там страшную хужобу и надсадный кашель. А ещё неутолимое желание жрать. Мамалыгу, сваренную тёткой Параской, принимался уминать, не дожидаясь даже того момента, когда она хоть чуточку остынет. Хватал руками куски, нарезанные ниткой, отправлял в рот и ворчал, обжигаясь. На третий день после

разорения поповского дома зажал Гликерию в дверях и ухватил обеими руками за попу, прижимая к себе, притираясь к самому низу её живота. И задышал, задышал, задышал... Как уж так получилось, она не помнит, но получилось. Гликерия принялась отталкивать лицо отчима, и растопыренными пальцами угодила ему в глаза. Фёдор взвыл, отпустил и заметался по избе, рыча по-звериному. Вбежала со двора Параска. Ой, что тут началось! Тётка утешала брата, прикладывала к глазам мокрый рушник, всплёскивала руками, сама верещала: «Убилаубилаубила», вновь всплёскивала руками, укоряя Гликерию: «И дала бы, сучка, не стерлась бы, поди». И снова причитала в унисон с завыванием Фёдора: «Братинька, потерпи-потерпи, сейчас полегчает». Гликерия подхватила сына и убежала из избы. Ночевала они у о. Гавриила. Но не в самом доме, закрытом на замок, а в сарае, где раньше стояли корова с телком, благо, сена оставалось предостаточно. Засыпалось плохо, хотя сено пахло умиротворяюще прошлой, уютной жизнью. Но пугала тишина. Не слышно коровьего пережевывания, и куры не переминались и не встряхивались, время от времени, на насесте. Видно, и кур, и прочую птицу уже обобществили. Зато стало слышно разгулявшихся мышей. Их-то Гликерия боялась пуще всего, даже пуще отчима. Она сидела, поджав ноги, рядом с посапывающим сыном и предчувствовала бессонную ночь из-за мышиноного шебуршания и попискивания. Вдруг, маленькое оконце закрыло нечто чёрное. И это чёрное бесшумно обрушилось вниз. От неожиданности Гликерия взвизгнула и готова была даже закричать, но к радости и облегчению своему поняла, что оборонять её от мышей пришёл кот Тимофей, в просторечии Тимоша. Кот искал общества, которого враз лишился, и улёгся Гликерии на колени. Его и мышиный писк не заинтересовал, да и поумерились мыши, заслышавши свою погибель. Гликерию приход Тимоши успокоил. Она легла; С одного бока посапывал Богданчик, с другого – мурлыкал кот, которого последние события в доме и новые обитатели вывели из его обычного состояния благорасположенности. И Гликерия начала погружаться в накатывающие волны сна. Она уснула и ей стала сниться речная вода, закручиваемая чорторьем. Только теперь вода ещё и гудела, и

гуд этот нарастал. И когда гудение стало совсем громким, она открыла глаза и поняла, что гудение не снится. В окошке хлева брезжил предрассветный отсвет. Она вышла на двор. Гуд шёл сверху. Гликерия посмотрела в высветлившееся небо и увидела, как по нему проплывают, натужно воя, чёрные кресты аэропланов. Их пролетало много. Собственно говоря, она никогда доселе не видела ни одного аэроплана, но поняла, что это именно они, потому что о. Гавриил рассказывал как-то сыновьям о машинах в небе и даже показывал их изображения в каком-то журнале. Что за аэропланы? Куда и зачем летят? Почему их так много? Ничего понять её – деревенской полудевочке-полуженщине, умевшей коряво написать своё имя и не более того. Гуд небесный разбудил не только её. Кое-где в домах засветились окна. Аэропланы разбудили и скотину. Необычный звук напугал коров. Они замычали по подворьям. Так, под коровий мык, спочиналась война, утянувшая в свой чорторый всю прежнюю жизнь.

Люди без недостатков не живут в таких местах, как станция Горелый Ям. Где такие живут – неизвестно, разве, что в Кремле. А тут народ попроще, понезамысловатей. Вот и у Пал Петровича Кафтанова был один, но довольно существенный при его должности, изъян. Мысли и чувства немедленно при своём возникновении отражались на его лице. И потому, когда он застал то, что застал в водогрейной и что подумал при этом, можно был прочесть сразу. И Мартемьян Егорович и Надюшка во взгляде милиционера прочли одновременно слово «Попались». Даже Салтын, этот махонький, ничего, вроде бы, не разумеющий уродец понял: от человека, пахнущего казёнными ремнями и стреляным порохом от револьвера в добротной кожаной кобуре, добра ждать не приходится. Он инстинктивно крепко ухватился за Мартемьяна Егоровича, чая обрести защиту.

- Я думаю, чё же ты не идёшь, - Пал Петрович потянул голос вверх, - А тут вон оно что! – Последнее долгое «О» прозвучало совсем на низах.

- Я щас, я щас, я щас! - Заспешила Надюшка. Только поезд вот... Кипяток же...

- Вы же знаете, товарищ Кафтанов, два состава – с чётной и нечётной: пассажиры, бригады поездные - не можем же без горячей воды оставить! Да и Литерный на проход! – Убедительным, как ему самому показалось, тоном добавил Мартъмян Егорович. – Скандал выйдет и жалобы.

- Да, - покровительственно согласился милиционер. Скандал – это конечно... Но, после-то... - В голосе его обозначилась жесткость.

- Да-да-да, - закивала головой Надюшка. – После – да.

- После, - подтвердил и Мартъмян Егорович

- Ну, вы тут... это... А я, это, пошёл. А ты смотри? Дело у меня к тебе серьёзное. – Кафтанов вышел и Надюшка с Мартемьяном Егоровичем слышали, как цокая, удалялись сапоги милиционера.

Кто бы посмел сомневаться в серьёзности милиционера Кафтанова! Да и милиционеров вообще! Никто! Разве только какие-то совсем отпетые заворуи. Да и те – пока не попались. Пал Петрович вполне осознавал свою необоримую силу. Когда шёл по пристанционному посёлку в форме, даже не водя глазами по сторонам, ощущал всеобщее замирание жизни от одного только неспешного прохождения мимо. Да что там чужие или мимо проходящие-проезжающие! Даже Точила, была с ним непочтительна, только когда он снимал форму и делался как бы домашним. Он и сам испытывал некое почтение к погонам и всему тому, что делало его, обычного человека не вполне обычным, прямо сказать, надмирным. Даже фронтовики, чья грудь была, как говаривали в старину, в крестах, оказывались головой в кустах, стоило только им добраться до пункта назначения, поименованного в увольнительном удостоверении, как станция Горелый Ям. Спрыгивали они с подножки вагона или из широко распахнутой двери теплушки эшелона, набитого демобилизованными победителями немецкого фашизма и японского милитаризма, и совсем скоро, почти враз становились, можно сказать, ручными. Да и то сказать, армия приучила ходить в ногу и тотчас умолкать на окрик Ваньки-взводного: «Разговорчики в строю». Теперь Павел Петрович уже не сомневался, что напал на золотую жилу. Всё к тому вело: и сообщение кассирши Лядовой про иностранную песенку, и

нежные отношения Мартемьяна с этой сучкой подозрительной, и то, что вышел он на явную группу, у которой все сведения о движении поездов были в руках. И даже пацанёнку место он определил. Кто мешает уродцу, кто за ним уследит, когда выходит он к поездам побирушничать, а на деле – передать заведомому человеку бумаженцию с разведанными? А?! Ловко сработано! Но, на всякого мудреца довольно простоты и он, Павел Петрович Кафтанов – родом из беднейших крестьян, сын Петра Кафтanova – коллективизатора колхозного, насаженного на вилы кулацкими бандитами, кандидат в члены ВКП(б), старшина милиции - видит эту преступную связку, вязку это паскудную, сучью. Мартемьян-то, конечно, по - первоначально врагом не был. Но когда баба исхитрится да подладится, тут и склешит любого мужика. Тут и не отвертись, коль ввергся. При этих мыслях милиционер Кафтанов сплюнул. Он-то хорошо знал, как это бывает. В августе сорок четвертого был он откомандирован на узловую станцию для усиления в период отгрузки хлеба нового урожая. Известно, что на стыке железной дороги и хлебоприемного предприятия самое место для злодейства. Поселили их, нескольких прикомандированных милиционеров, в бараке при станции для поездных бригад. И как-то, во время дежурства подвернулась ему на глаза разбитная бабёшка с хлебоприёмного. Ну, и сами понимаете... При этом воспоминании слюна нахлынула и Кафтанов опять сплюнул. Сладкая была бабёшка, чистенькая, во всех местах как маслом мазанная, никогда никакого слова поперёк, не то, что Точила. Жила отдельно. Он уже почти перебрался к ней. В барак, порой, и не заходил, а утром прямиком шёл на развод в Отдел, Да хорошо, что почти перебрался, а не совсем. Тем и спасся. А тут воров и накрыли. И оказалось, что Зинка - поцелуйщица эта, в банде не последней была. И задача её в одном состояла: выведывать графики дежурств милиционеров. Так спроси – он её сразу бы заарестовал. А ночью о чём хочешь выведать можно: «Мур да мур, да мур-мур, да ты мой сладенький, дай я тебя всего исцелую». И целовала, и повсюду! Тьфу! Но память по себе оставила. Еле он тогда от увольнения из органов отвертелся... И память эта иногда подкатывала, да в самый неподходящий момент, вот, как сейчас. И

он опять подумал о Надюшке, монашке этой. Подумал, как думают здоровые, хорошо кормленные мужики о женщинах. Он опять сплюнул, и вновь, как ни плюйся, продолжал думать о монашке этой. О том, что можно было уже давным-давно дожидаться её прихода для уборки пикета, да завалить сучонку прямиком на стол, юбку задрал – и пикнуть бы не посмела. А теперь – вот! Мартемьян её себе на беду обратал и ничего не остаётся, как, говоря по-железнодорожному, поставить на ход.

7

Немцы в селе появились не сразу. Сначала воцарились румыны. Бои обошли село стороной, Рокотало вдали, изредка проползали по небу стаями аэропланы – не поймёшь чьи. Один снизился и прострекотал из пулемёта, словно Шлёмкина швейная машинка вывела строчку. Пилот явно целил в поповский дом, над которым пластался по ветру красный флаг. Ни в дом, ни во флаг не попал и улетел. К тому времени Шлемка свой пост, так неожиданно ему доставшийся, предусмотрительно покинул, прихватив зачем-то печать и бывшую поповскую тетрадь с водяными знаками в виде ангелочка, на страницах которой он вёл учёт славных своих дел при советской власти. Дома всеми страшными словами Шлёмку кляла жена. Одно только на разные лады повторяемое слово «шлемазл» чего стоило! Он был шлемазлом и тогда, когда они женились, и когда стали один за другим являться дети, а он угомониться не мог, и когда денег в доме не было, и когда они были от его шитья, он всё равно был-таки шлемазл. А уж когда он вдруг принялся за политику и пошёл делать что-то такое непотребное в церкви – вовсе стал идиёт! И от её причитаний воздух над улочкой, где сплошь стояли дома евреев, как-то по-особому густел, потому что к её причитаниям, добавлялись причитания других евреек и свинцовое молчание седобородых стариков. А в сельсовете эти последние часы всю полноту власти обрёл Хриша. Как-то так получилось, что при аресте о. Гавриила и последующих изъятиях никто не осмотрел нужным образом

погребец, вход в который был с тыльной стороны дома. Из большого погреба съестное выгребли всё и сразу. А сюда – руки не дошли. А меж тем, в погребеце у непьющего, в общем-то, о. Гавриила был некоторый запасец кагора для причастия, добрый бочонок красного сухого вина и оплетённая бутылка вина белого полусладкого, сделанного из подмороженного винограда. Когда законная власть схлынула под напором надвигающейся беды, Хриша пришёл в опустевший сельсовет и, ведомый каким-то звериным чутьём проник в погребец. Кагор был его слабостью. Одну бутылку он опростал там, в темноте погребца, а с двумя другими, теряя уже ощущение неразрывности времени и пространства, выполз на двор и ввалился в дом. Гликерия пыталась его усостыжить и даже напугать. Но Хрише было уже всё равно. Он спросил у Гликерии хлебушка. Хлебушка не было, был початок недоспелой кукурузы, хороший уж тем, что мягок. Беззубому Хрише того и надо. Он неверной рукой, саданув по доньшку, выбил пробку и, запрокинул голову, сделал длинный, как песня, глоток. Потом уронил руку с зажатой в кулак бутылкой на стол, рассадив бутылке дно, поранил руку, и остатки кагора замешавшись с кровью, растеклись по столу. Он упал лицом в красную лужу, в которой лежал белый, с лёгкой желтизной початок. В этот момент в дом вошла Геля - учительница. Увидев Хришу, она сперва отпрянула, решив, что тут произошло смертоубийство. Но сразу одумалась, разглядев бутылку.

- Девонька, - сказала учительница Гликерии, - Помоги мне.

Она стала снимать, встав на табурет, портреты товарищей Сталина, Ленина и двойной портрет густо обросших Маркса и Энгельса. Гликерия принимала портреты и ставила их на пол. Кстати, Маркс смушал Гликерию своей схожестью с ребе Ицхаком, только Маркс почему-то без кепки и одет не в лапсердак. Гликерия принесла мешковину и они увязали в неё портреты. Подумавши, вынесли портреты в хлев и схоронили у самой стены, закидав схрон сеном. Затем учительница посадила Гликерию и та сдёрнула красный флаг с древка. А когда стала слезать с навеса крыльца, увидела, как с горы к селу сползает светло-зелёная гусеница

румынских солдат. Уж, их-то форму она узнала бы даже во тьме крошечной.

- Румыны!

- Помоги мне! - приказала учительница и, задрав рубаху и приспустив юбку, стала накручивать на голое тело красное полотнище.

Гликерию поразила плоская какая-то грудь учительницы, и ещё больше – мурашки по телу, будто она замёрзла, хотя день стоял жаркий. Приведя себя в порядок, Геля надела поверх рубашки жакет, повязала свои коротко стриженные волосы платком по-деревенски и сказала Гликерии:

- Молчи. И уходи отсюда. Скоро Красная Армия вернётся, тогда опять свидимся.

- А отец Гавриил? А ребята?

- Потом-потом. Учти: попы наши враги. Пока мы отступаем. Временно. Но ничего. Слышала? Наше дело правое и мы победим. Ну, девонька, давай! - Она обняла Гликерию за плечи и вышла со двора скорым шагом, но пошла не в сторону села, а напрямик через поле в сторону садов, за которыми начинался лесок.

С той поры многое повидал, а больше - унюхал Салтын. Дома стало скверно пахнуть винтовкой, с которой теперь не расставался Фёдор. На другой день после прихода румын он поспешил в примарню, где опять обосновалась новая-старая власть, и записался в полицию. Не то, чтобы ему хотелось службу нести, но так казалось спокойнее. Из тюрьмы его выпустили при Советах, и он побаивался, что вернувшись, румыны вспомнят о смертоубийстве. Не вспомнили. А тут сам собой случай подвернулся отличиться; дьякон Петря, до которого у энкаведешников руки не дошли, пострадавший от предвкушения смертной муки, но избавленный по молитве от рук извергов-большевиков, пожаловался Мирче, который вернулся и назначен был примаром села, на разорителей храма. Виновным сам бог велел стать вечно пьяному Хрише, не понимавшему вполне, что жизнь перевернулась. По-справедливости, главной подстрекательницей выступала, конечно же, учительша. Но её где сыщешь? Шлёмку и прочую жидомордию, как, сплёвывая, цедил Фёдор, сбив в колонну, тремя днями раньше погнали румыны - конвоиры. Гнали

через всё село. Именно тогда познал Богдан, ещё ничего не понимая, липучий дух страха, тянувшийся за вереницей людей, гонимых в никуда. О. этот запах страха... Он на долгие-долгие месяцы завис над селом, над домами его, с нахлобученными по самые оконца соломенными крышами. А за церковь, и вообще за власть советскую, надо было кому-то, по горячим ещё следам отвечать. Так что, Хрише пришлось терпеть за всех: и за учительницу, и за богоборца Шлёмку и за народную власть, и за надежду на светлое будущее, а заодно и научный атеизм, и диалектический материализм, а также за Краткий курс истории ВКП(б), о которых, впрочем, он и понятия не имел. Да и кто имел понятие обо всём этом в бессарабском селе, втянутом в замес невероятной силы. Дознание и суд были короткими, тем более, Хриша не вполне понимал румынское велеречие. Фёдору же доверили приведение приговора в исполнение. Под руководством офицера - румына двое жителей села: Никита, по прозвищу Муравей и Тарас Петричко соорудили шибеницу на майдане, где по субботам возникало нечто вроде базарчика. На славу постарались – пятерых разом можно было бы вздёрнуть. Но пока один только под руку подвернулся. Однако, для первой остротки и одного пока хватало.

Казнь должна была быть показательной. Ужаснуться согнали всё село до единого. И Гликерия общей участи не избежала, с Богданчиком на руках пришла. Стояли кучно. Два конвоира привели Хришу. Впервые он был тверёз. Некоторые женщины углядели, что не так уж он и плох тверёзый, с синими его глазами. Необыкновенно торжественен был Мирча. Но все же, гораздо внушительнее выглядел румынский офицер, от которого на весь майдан пахло незнаемой в селе роскошью – одеколоном, но и конским потом, поскольку на экзекуцию он прибыл верхом на гнедом жеребце. Сидя в седле и таким образом вознесённый на всем, что было окрест, офицер принял из рук сопровождавшего его мелкого чина бумагу и высоким, по-бабьи пронзительным голосом по-румынски начал зачитывать приговор. Прочёл. Конвоиры подвели Хришу к петле и даже подсобили забраться на чурбак, поскольку руки у казнимого были связаны за спиной. Теперь настал черёд Федора. Он взобрался

на стоящий рядом второй чурбак и начал надевать петлю на шею Хрише. Петля оказалась тугой. Приговаривая: «Погоди, браток, погоди». Фёдор подраспустил петлю. Хриша ухмыльнулся: «Да я почекаю, а ты не волнуйся, шановный друг Федя» - По-приятельски, по-свойски сказал. Как-никак, в прежние времена немало вместе было выпито молодого, обманчиво лёгкого вина. Заизвивался, забился на руках у матери Богдан. Он не понимал по малости своей происходящего, но ощутил, как сгущается вокруг тяжёлый запах страха, смешанный с нагловатым, нездешним одеколонным духом, исходящим от офицера. Но вот петля оказалась там, где и положено ей было быть. Тут выступил вперёд Мирча. Оказывается, у него за спиной стоял Ион - его прихлебатель из Примарни. Мирча повёл рукой, и прихлебатель понёс Федору дощечку на веревочке. Фёдор взял табличку и повесил её на шею Хрише. Те, кто умел читать по-русски, прочли слово «БОЛЬШЕВИК». То же слово было написано латиницей. Офицер прокричал что-то по-румынски и взмахнул рукой. Отчим Гликерии соскочил со своего чурбака и выбил чурбак из-под ног Хриши. Петля затянулась. Хриша дёрнулся, засучив ногами. Те, кто стоял совсем рядом, услышали, как хрустнули шейные позвонки повешенного. А Богданчик и вовсе заизвертелся, учуяв запах, который будет преследовать и его, и маму все нескончаемые месяцы, пока в селе были люди, от которых пахло оружием и смертью. Ибо, этот новый запах был запахом смерти. Но Богданчик ещё не понимал, что так пахнет смерть. Да и позднее, израстаясь, он мало что понимал. Он всего лишь чуял, проживая жизнь от запаха к запаху, запоминая их, как помнят псы все свои неисчислимые принюхивания. А ещё, своим свороченным набок, вроде бы невидящим правым глазом он воспринимал чужую боль в виде красного облака, обволакивающего больное место у кого угодно: у человека ли, у животного ли бессловесной, даже у дерева, которому ломали ветку. Вот и сейчас, сидя на руках матери, закрывавшей ему ладонью левый глаз, он правым своим увидел: красная вспышка охватила человека, почему-то болтавшегося в воздухе и дрыгавшего ногами. Люди на майдане разом выдохнули, кто-то завсхлипывал. А Гликерия заметила, как

стоявшие рядом односельчанки подались от неё и тётки Параски. Неприметно, но посторонились, словно вдруг забоялись замараться о нечто невидимое, но скверное.

А милиционер Кафтанов зашагал домой. До прибытия двух встречных почтово-пассажирских, а, следовательно, до продолжения дознания оставался час с четвертью. Можно сходить домой и, не раздеваясь, попить чая вприкуску. Любил Пал Петрович погонять чай. Подаст Точила заваренный чаёк, а он берёт синеватый на изломе кусок колотого сахара. Точила, зная его прихоти, подаёт тяжёлый нож, для разных домашних разностей кованный одним умельцем из куска ресоры – острющий до невозможности. Кафтанов кладёт кусок пайкового сахара на ладонь, коротко и резко бьёт ножом и несокрушимый с виду кусок распадается на части. Точила всякий раз ахает: «А вдруг да по руке». Но удар у Кафтanova поставлен. Большой кусок распадется на малые. Теперь можно и к чаю приступать. Сахар – чудо! С маленьким кусочком во рту можно две кружечки засандакать – до того сахар сладок и труднорастворим. Но, подумавши о чае, милиционер Кафтанов решил всё-таки домой не идти. Час с четвертью – не велик промежуток. А за это время может разное случиться; А вдруг Надюшка учудит – да и в бега ударится. С неё станется, если за ней нечистый след. А то, что след нечист, Пал Петрович чуял всё явственней. Чутьё у него отменное на всякое такое разное. Другие и не замечают, а он как взглянет на толпу на перроне и сразу уцепит такие глаза, за один взгляд которых человека можно и нужно брать и доставлять куда следует. А взятый сам потом во всём признается. Чутьё милиционеру Кафтанову жизнь наострила. В Ветлянке, откуда он родом, из шестидесяти дворов сорок были так или иначе достаточными. Сам же он из двадцатки, где жили через пень-колоду. Дворы эти были во всём на отшибе. И ставлены ближе к оврагу, а не в общем порядке. И народ в домах обитал – оторви да выбрось. Из живности на подворьях держались только коты, знатнющие такие, лохматые, хоть вместо баранов стриги, да псы – брехливые, ревностно охраняющие дома. Хотя, по чести сказать, особо надрываться-то причин и не было. Когда товарищ Сталин

позвал в колхозы, Пётр Кафтанов по уличному прозвищу Петруха – Рваное ухо, не раздумывал. Он твёрдо уверовал: хорошая жизнь не настанет, пока братьевья Твердохлебовы, Ваньча Кузаев и Сила Никитич Гуменников держат Ветлянку, как бабу за гузно. Создавать новую жизнь можно только когда старой салазки загнём. И Петруха двинул на кулаков. А сын Пава увязался следом за взрослыми – интересно же было ему, мальцу смотреть, как будут зорить спиногрызлов, так их называл отец. Однако, братьевья Твердохлебовы ещё загодя ночью задали лататы, благо было на чём – на двух дворах коней держали под два десятка. Убегая, весь скот порезали и карасину не пожалели – залили убоину, чтобы и мяса не досталось гужеедам. И ведь умело сработали – ни одна корова не мыкнула, ни одна овечка не мемекнула. Ванча Кузаев никуда не тронулся и только крестился трясущейся рукой, пока товарищи раскулачивающие перетряхивали и пересчитывали добро и складывали, побряхтывая, чувалы с зерном на подводу. Сила Никитович Гуменников встретил комиссию стоя посреди двора, будто и не знал, что началось раскулачивание, и работал на себя по дому. Он только что слез с сеновала, отпластав и сбросив наземь беремья сена – скотину-то кормить надо.

- Почто явился? - Спросил он у Петрухи, уже почувствовавшего себя исполнителем судеб.

- Будем тебя, Сила Никитович, раскулачивать и проводить реквизицию! – С вызовом в голосе отвечивал Петруха. И прошу мне не тыкать, а именовать впредь Петром Егоровичем.

- А когда ты, Петруха, вернёшь зерно, что брал у меня на посев? И рожь брал, и ячмень...

- Херушки тебе, а не ячмень! Кончилась твоя сила гражданин Гуменников. – И Петруха захохотал, а вслед захохотали все, кто вошёл следом за Петрухой на двор. И Пава тоже засмеялся, хотя и не понимал, над чем смеются взрослые.

Сила Никитович в ответ на хохот вдруг встал в стойку и коваными, изострёнными вилами сделал колющий выпад, как его наставляли колоть супротивника в учебной команде Лейб-гвардии Московского полка. Тогда, правда, в руках у него была мосинская винтовка с трёхгранным штыком.

Однако, давние уроки пригодились и для вил. Пава увидел, как все четыре острия вонзились в отцово брюхо до самого до упора. Уколов, Сила Никитич выдернул вилы и обротил их в сторону других пришедших. Смех оборвался, отец, обхватив живот руками и захрипев, опустился на колени, а потом повалился на сено. Пава увидел глаза Силы Никитича и запомнил их на всю свою жизнь – такие это были глаза! Тут Сёмка Карагаев – бывший конармеец – выхватил и кармана наган и все пули, сколько было в барабане, всадил в Гуменникова. А последнюю - уже поверженному прямо в лицо. Отца схоронили. Именем его назвали колхоз, но жизнь колхозная попервоначалу не задалась. В голодный 31 год мать увезла Паву и брата Миню в райцентр. За мужнин подвиг взяли её в Райком партии уборщицей, а по красным дням календаря даже на почётное место в президиум, как жену героя, усаживали. Так они с братом и в возраст вошли. Пава стал Павлом - комсомольцем и по комсомольской путёвке направлен в органы внутренних дел. По всем статьям ему следовало быть в высоких чинах. Но клятая неграмотность подножки ставила. Говорил-то складно. Но редкое слово писал без ошибки. Начальство, и само не слишком грамотное, над ним подшучивало. Но учение в голову не шло. Поэтому он и прозябал на этой горелой станции, утешаясь только тем, что по всей дороге ни у кого столько арестованных не было.

А тучи устремившиеся, было, миновать место сие, словно передумали, будто им дано умение думать и самочинно решать, куда и как двигаться и где изливаться дождём, а то и градом грянуть. Над станцией Горелый Ям, над самой её маковкой зависли они низко-низко, медленно и неумолимо свиваясь в некое подобие водоворота, самой центральной его части, пуповины вихря. Казалось, что вот-вот и они снесут шатровое навершие водонапорной башни. Ветер, откуда ни возьмись, накинулся, закружил-завил пыльный смерч, и чуть ни сорвал кубанку – предмет особой гордости Пал Петровича, шествующего по перрону в сторону своего кандея. Пришлось её даже поглубже надвинуть, до самых почти бровей. Стоило бы и шаг прибавить. Но суетливости милиционер Кафтанов не позволял себе ни при каких обстоятельствах. Да и то сказать; представитель Власти, а бежит от

какого-то дождя. Вдруг с сухим треском низвергнулась молния, и гром загрохотал мгновенно – видать, совсем рядом она ударила. И одновременно кто-то там, наверху, самым злодейским образом, будто бочку воды на самую голову Пал Петровича опрокинул – так хлынуло! Эко ливануло: милиционер Кафтанов вымок сразу с ног до головы. Он и сейчас не подумал бежать, а шёл сквозь обрушивающуюся воду чеканящим шагом. А дождь всё низвергался, и Пал Петрович почувствовал, как вода даже в сапогах захлюпала. Теперь-то и вообще бежать не было никакого смысла. Одно радовало: служебное удостоверение надёжно укрыто в специальном отделении под плёнкой в щегольской, коричневой кожи, офицерской сумке, которая по чину ему не положена, а положена из кирзы. Но с кирзовой пусть ходит рядовой Волобуев. А он – старшина! И теперь уже наверняка почти офицер!

Мартемьян же Егорович, собравшийся уходить и сделавший шаг за порог, почувствовал, его ухватили за брючину. Обернувшись, он увидел, что удерживает мальчишка. В этот самый момент молния низверглась и ударила в металлическую опору с двумя фонарями, стоявшую прямо напротив двери. А следом обрушилась вода с неба, словно молния сорвала небесный заплот, не дававший воде литься. Ещё и ещё раз хлестанула молния. Ещё и ещё раз оглушающе грянул гром совсем-совсем рядом. На этот раз молния дважды угодила в водокачку, намереваясь нанести непоправимый ущерб недвижимому имуществу Министерства путей сообщения Советского Союза. Но не тут-то было! Царские ещё инженеры всё предусмотрели. Толстый кованый металлический штырь, торчащий над крышей, пропущенный по стене сводил молнию вниз, в землю. А земле-матушке, как известно, молния нисколечко не страшна. Надюшка, испугавшись небывалого грохота, непроизвольно, не думая ни о чём таком, прижалась к Мартемьяну Егоровичу себе, часто-часто, повторяя: «Пресвятая Богородица пресвятая богородица пресвятая богородица».

Только сейчас Мартемьян Егорович заметил, что над дверной притолокой висит небольшая иконка, и он сразу узнал её. Это была Семистрельная. Пред такой же молилась

некогда мама. В бараке, где они жили-выживали, никто икон открыто не держал. За такое можно было запросто угодить, сами понимаете, куда. Но в пристанционном бараке, тем не менее, многие, таясь, но искали у Бога защиты от вихрей, что гуляли по родимой сторонущке и азиатскую станцию не обходили. Когда мать молилась, доставала она Семистрельную, укутанную бережно в чистую тряпицу, из-за топчана, на котором они спали, ставила её на табурет, зажигала перед нею свечу, вставала на колени, и он вставал вместе с нею, и слушал почти беззвучные её моления. Ах, как давно это было. Мартемьян Егорович! Как давно! В той самой жизни, которую он стремился забыть, остерегался проговориться о ней, и о том, что ей предшествовало, Он и беспартийным оставался по причине той, насильно забываемой, но до конца так и не забытой жизни. Однажды, не устояв перед укоризнами, он всё-таки взял кандидатскую анкету у замполита. Начал вчитываться в вопросы и понял, что сам по доброй воле может оказаться пойманным сетью с малой ячейкой, из которой не выпутаться вовек. Ночь просидел, всё думал, как отбояриться, как дать задний ход, что придумать в качестве веской причины для отказа. Тоже ведь; скажи не так - заподозрят. Всё-таки офицер, недавно погоны нововведенные надел... Словом, непростая ситуация. Но повезло. Утром закружила над поездом «Рама» - треклятый разведчик немецкий. А через четверть часа прилетел «Юнкерс». Бросил бомбы. И как раз замполиту обе ноги оторвало. И что воистину удивительно; ноги оторвало, а сапоги-хромачи на оторванных ногах целёхонькие. И он, Мартемьян Егорович, целёхонький, хотя рядом стояли. Его только кровью замполитовой забрызгало. Тогда, именно тогда всплыли из глубин памяти слова молитвы, что сухими своими губами шептала мама, обращаясь к Семистрельной: « О многоскорбная Мати Божия, превысшая всех дщерей земли по чистоте своей и по множеству страданий, Тобою на земли пренесенных! Прими многоболезненные вздыхания наша и сохрани нас под кровом Твоея милости».

Дождь хлобыстал. Молнии, казалось, обрушивали само небо, гром грохотал бесперечь. Они стояли втроем перед

распахнутой дверью, изумлённо вглядываясь в сплошную стену воды, низвергавшуюся с небес, прошиваемых огненными струями. Мартемьян Егорович вдруг с необыкновенной ясностью и силой ощутил женщину, прижимающуюся к нему и вздрагивающую при всяком громовом раскате. О.Господи, Боже мой! Он забыл, он давно запретил себе, он, кажется, поверил в то, что освободился от желания ощущать женщину, чувствовать её тело, властвовать над нею и наслаждаться её ответным желанием, её, погружающей в забвение и неистовство, ответной лаской и беспамятством взаимного слияния.

И она, Надюшка-Гликерия, также давшая обет, по-монашески отринувшая любые думы о плотском, всё том омерзительном, что ей довелось испытать за свою не такую уж и долгую жизнь, вдруг впервые всем своим естеством ощутила скручивающую, неодолимую силу бабьего своего желания. Потому что приобнял её тот, от которого, как говаривала соседка-хохлушка Ганна: «чоловіком тхне».* Она давно заметила его взгляды и хотела, но и боялась верить этим взглядам. А тут ещё и сын! Ухватился одной рукой за штанину Мартемьяна Егоровича, а другой – обнявший её ногу. Она-то хорошо знала, что Богданчик никого чужого к себе не подпускал и сторожко следил за всяким, кто вознамеривался приблизиться к нему и маме.

- Сейчас дождь поутихнет, и пойдём, Надюшка, ко мне. – Сказал Мартемьян Егорович. И странным ему показался звук собственного голоса, будто кто-то сдавил ему горло. - Будешь жить у меня.

Она не услышала, не поняла сказанных слов, но почувствовала, как слова эти, рождаясь, гудели в груди, к которой она прижалась.

- Что-что? – Переспросила она почти беззвучно. - Жить ко мне пойдёшь. Совсем. Насовсем ко мне. В дом. И хлопчик твой... Ага, малыш?

Истинно, прозорливицей была кассирша Лядова; Что другое – не знаю. Но незримые нити, связывающие мужчину и женщину, она чувствовала, как швейная игла чувствует магнит даже сквозь грубую клеёнку, повинуюсь незримым

его силам. Она нутром знала, предвидела: этим дело и закончится; шмакодявка, обсосочка эта уведёт,

можно сказать с неё снимет Мартемьяна Егорыча. И

вползёт змеюкою, и свернётся колечком, и пригреется на груди его. И уродца своего камнем ему на шею повесит. А потом новых нарожает. Её-то, твари залётной что – знай, дяжки раздвигай.

- Нет. – Сказала Надюшка. – Нет, - повторила она, - нельзя мне к вам. Порченная я. Под немцем была.

- На оккупированной территории что ли?

Он сразу вспомнил, как где-то, не доезжая Орши, энкаведешники прилюдно казнили через повешение пойманного деревенского полица, и как местные женщины люто терзали полицаеву жену, вся вина которой была только в том, что она была женой казнимого. «Сууука» - выли они, - «Сууука» - и своими немощными руками норовили сорвать одежду с такой же, как они, источенной терзаниями полицаихи.

- И что, что под немцем?! У нас под немцем полстраны было.

Она ещё крепче прижалась к Мартемьяну Егоровичу, будто желая срастись с ним телом, понимая, однако, явную постыдность своего желания, всю греховность его. Хотя, что ей понимание, когда разум отказывал в повиновении. Ах, если бы он захотел сейчас, прямо сейчас, сей же миг её взять. Она бы и сына Богдашечку вытолкала за дверь, под дождь, куда угодно.

- Нет, сказала она. – Нет-нет-нет!

- Да! Да! Ты не думай... Я в кабинет к себе перейду. У меня же там диван. Да и запросто – мне не привыкать. Он и, правда, частенько ночевал на станции, особенно, когда по ночам на проход следовали таинственные литерные поезда и с верхов предупреждали о беспрепятственном пропуске их через станцию.

- Нет.

- Ну, хорошо! Ты, не ерепенься, собери свои вещички, а я через полчаса за вами зайду. Там литерный должен проследовать. Мне доложить надо по линии. – И он скрылся за

тёмной завесой мелкосеянного дождя, пришедшего на смену ливню.

Настал черёд и для немцев. Однажды их серо-зелёные машины сползли с горы по дороге, раскисшей от недельных осенних дождей. Впереди ехала легковушка с брезентовым верхом, а следом тупорылый тентованный грузовик с двумя усами, торчащими из передних крыльев. Румыны загодя знали о прибытии. Мирча также был оповещён. Они вместе встречали немцев на въезде в село. Дождь продолжал сеять. Румынский офицер старался стоять навтыяжку под зонтом, который держал над ним денщик, тщившийся услужить, да сам вымокший до нитки - зонтик-то был невелик. Денщик переминался с ноги на ногу, и в этот момент вода с зонтика начинала течь офицеру за шиворот. Офицер ругался, денщик дёргался. Тогда ещё больше воды попадало на офицера и всё это наблюдали немцы, сидевшие в легковушке. Рядом стоял Мирча в русской плащ-палатке. А подле – мок отчим Гликерии с винтовкой на плече.

- Хайль, Гитлер! – Прокричал румын, выставивший из-под зонта руку в фашистском приветствии.

- Хайль! – не вылезая из машины, только приспустив стекло, ответил немецкий офицер.

Румын что-то сказал, услужливо склоняясь к дверце легковушки и указывая рукой на дом о. Гавриила под железной крышей, стоящий на взгорке. Машины тронулись. Румынский офицер с солдатом и Мирча с Фёдором пошли за ними следом, ускоряя шаг и скользя по раскисшему дорожному полотну.

Новая жизнь началась в столь знакомом Гликерии доме священника. Уже ничего здесь не осталось от прежнего. От ненавистного Шлёмке поповского духа дом зачистили, когда о. Гавриила и его детей увезли. Тогда туточки расположился Сельсовет и Ячейка – так учительница называла то, чем занималась с такой яростью и убеждением в правоте творимого. В дом зачастили разные люди; Являлись прежде столь смиренные крестьяне, враз осатаневавшие из-за делёжки помещичьей земли. Мирча хотя и сжёг господский

дом, улепётывая в Румынию, но земля-то осталась, и сады и виноградники никуда не делись. Теперь это была только их земля, и небо над землёй тоже стало только их небом. Приезжали решительные и громогласные люди из района и даже из самого Кишинёва. И свадьба если – тоже сюда. Церковь-то крест-накрест заколотили. Гликерия, оставленная в доме для обслуживания, только успевала полы подтирать за бестолковым народом, забывающем ноги почистить, входя. Всё это разом смыла война.

В услужение к румыну Гликерию привёл отчим Федор. К ней он больше не лип, поскольку отыскалась в селе бабёшка, да не одна, готовая услужить столь важному, а больше, страшному чоловіку. Время такое настало, что надо к кому-то прислоняться. Война погромыхала- погромыхала за холмами и стихла, укатилась на восток, словно её и не было, как не было и советской власти, и всего, что власть наворотила за своё недолгое пребывание в освобождённых от румынского гнёта краях. Из села в Красную Армию перед самой войной призвали два десятка молодых парней и мужиков-женатиков. Оставшимся безмужними жёнам, а некоторые из них на сносях, было страшно. Но по-особому страшно было тем, кто по малограмотности, беспросветной нужде и надежде на всё лучшее своей поверил, что советская власть надолго, а Советский Союз необорим. Они и сгрудились в колхоз, делили господскую землю, занимались раскулачиванием, ходили на заседание Ячейки. Да и совсем молодых немало Геля-учительница записала в комсомол. Кое-кто перед возвращением румын успел ухватиться за хвосты красноармейских лошадей и ушёл, да потом всё равно тайком вернулся, попав в окружение. Словом, было, чего страшиться... Гликерии Фёдор сказал: « Ты мне вовсе никто. Кормить тебя да злиденного твоего – у себя кусок изо рта доставать». И отвёл её к офицеру в наймички.

Что хорошо, офицер её как бы и не видел. Утром любил в постели понежиться. А когда вставал, мочился, не стесняясь Гликерии, в принесённое ею ведёрко, и требовал, чтобы уже был наготове специальный металлический стакан кипятка. Запахнувшись в халат, усаживался в стоявшее перед зеркалом кресло, в котором некогда сиживал о. Гавриил, а

следом и Шлёмка. Входил смазливый денщик Михай, и принимался умело и любовно взбивать пену в металлической же чашечке, сыпанув туда прежде мыльный порошок. Затем начинал осторожно наносить кисточкой густейшую пену на офицерские щёки, а следом принимался, как бы и не касаясь бритвой командирского лица, соскабливать пену вместе с чёрной щетиной. Всё это время Гликерия должна была стоять рядом, держа в руках кастрюльку с кипятком, накрытую крышкой. Когда выскабливание щетины завершилось, Михай приподнимал крышку кастрюли и доставал из горячей воды махровую салфетку. Отжав воду, накладывал салфетку на запрокинутое лицо господина офицера, и тот всякий раз вскрикивал и сладострастно мычал от наслаждения. Затем Гликерия наблюдала длинный процесс приготовления офицера к боевой службе. Он натягивал лиловое шёлковое бельё, которое подавал ему денщик, а потом усаживался перед зеркалом. На столике стояли многочисленные пузырьки, флаконы, пузырёчки и коробочки, от которых шли дивные запахи. Шипя от нестерпимости остроты ощущений, он опрыскивал побритые щёки и шею одеколоном, давя на красную резиновую грушу. Денщик уже ждал этого момента и начинал салфеткой обмахивать лицо, чтобы щипало не так сильно. А уж потом начиналось главное; из флакончиков и коробочек выдавливались разные мази и снадобья. Они втирались в кожу лица. Отдельно шли румяна на скулы, подводились брови бриолинились волосы, до того упрятанные под густую сетку, которую офицер надевал, укладываясь спать, последним в очереди прихорашиваний было подкрашивание тонких губ. После чего следовал завтрак: непременно два яйца, сваренных «в мешочек» - и не дай бог по-иному, хлеб с маслом и кофе, которое варил и подавал в кофейнике денщик Михай. Кофейничали они с денщиком вместе, поворковывая о чем-то своём заветном. После кофепития следовал традиционный же обмен нежными поцелуями денщика и офицера, который в своём халате ещё не был офицером. Офицером он становился, когда облакался в форму, утягивался ремнями, бережно, дабы не нарушить аккуратный прямой пробор причёски, надвигал на глаза фуражку и выходил на крыльцо, подле которого уже стоял заседанный

солдатом-конюхом каурый жеребец. Усаживаясь в седло, разбирая поводья, прищпоривал жеребца и начинал ежедневную проминку. Чудно и гадостно было Гликерии наблюдать всё это, особенно обмен поцелуями. Но что поделаешь! И она принималась надраивать полы и готовить обед.

А теперь ей куда клонить голову? Румын съезжал вон. Все его пузырьрочки, примазочки, присыпочки, да флакончики с пахучими водами, любовно застеленная постель с двумя перинами и прочим барахлом загодя увязаны и увезены на трёхколёсной машинёшечке в сторону уездного села, а может быть, и ещё куда. Отчим, вернувшись со встречи немцев, промокший и злой, громыхнул прикладом, ставя винтовку под иконами., отпустил щелбана заплакавшему от этого Богдану, сел на лавку и сказал: «Всё, бабы. Хозяин прибыл. Настоящий». И, обращаясь уже только к Гликерии, добавил: «Это тебе не твоя петушати́на румынская».

Богдан Фёдора боялся. Конечно, он не понимал, что есть страх. У него и слова такого в голове не было, как не было и многих других. Слова просто не заводились в его голове. Они прилетали и исчезали из сознания, как только надобность в них отпадала. Одно только слово жило в его памяти – САЛТЫН. Но никто и не догадывался, откуда это слово взялось в его голове и что оно на самом деле означало. Сам он тоже ничего никому объяснить не мог. А ведь оно что-то да значило! Но тут уж ничего не поделаешь. И у вполне здоровых разумом людей есть слова, смысл которых непостижим их обладателю. Сама Гликерия-Надюшка не уловила того момента, когда это слово появилось у сына. Услышав его впервые, она вздрогнула, испугавшись и обрадовавшись одновременно; А вдруг он приходит в ум и начинает говорить. Ан. Нет. Всё Салтын, да Салтын и не слова больше. Только с разными оттенками: от ласкового, похожего на мурлыканье до угрожающих вскриков.

А всё-таки, сердце у товарища Кафтанова было не на месте. Ох, не на месте! Зря он сразу же не заарестовал эту .. как её... А вдруг она прямо сейчас... Да, запросто... Скроется!

Он вновь и вновь перебирал в голове все обстоятельства и неопровержимые, как ему виделось, факты, и сам себя

убеждал, что если прямо сейчас он не задержит эту тихоню жопастьенькую, то ему не сносить головы. Тот въедливый товарищ из неназываемой вслух конторы, что пришипилась в доме красного кирпича в райцентре, принадлежавшего некогда купцу Малееву, товарища Кафтанова не помилует, если что, и никакие прежние заслуги, никакую давешнюю боевую рану в расчёт не возьмет. У них, в том доме свои заботы, свой план по выявлению и пресечению. А тут такая, понимаешь ли, история: прошляпил, упустил. А как иначе назвать: беспаспортную, с какими-то фиктивными справками тёмную личность не углядел. А это – Дорога! Объект высшей категории важности! По ней разные люди едут. Очень даже разные! Тут и сам – страшно подумать – товарищ Сталин может проследовать. Да и другие вожди... Тут всё должно быть прямо и только прямо – всёж-таки, ПУТЯ СООБЩЕНИЯ! Кафтанов сидел у себя в кандее размокряющий до нельзя. Надо бы слётать домой, хоть чая горячего выпить... А нельзя! Он достал револьвер из кобуры, зачем-то посмотрел номер оружия, откинул барабан, извлёк патроны, покал на ладони, пересчитал – все на месте. Затем проверил: взводится ли револьвер. Наган щёлкнул – всё было в порядке – не подведёт при случае. Шомполом проверил ствол – ничего постороннего. Зачем-то ещё и посмотрел ствол на просвет – блестит! Не зря он оружие обиходит, Затем вновь вставил патроны в барабан. Кстати, дождь не повредил – револьвер смазан, патроны, что кличут масляточками, также лоснились от смазки и не могли отсыреть. Так что, гражданочка, так называемая Кирпань, не рыпайтесь. Стреляю я хорошо. Прошлый раз проверяли, когда собирали на совещании. Три патрона на двадцати пяти метрах – и два - в «десятку». Пал Петрович вставил револьвер в кобуру, но кобуру не застегнул. Гроза, кажется, отгромыхала. Дождь продолжал сеять и сеять. Он встал и вышел на перрон. Никого видно не было. И он зашагал по направлению к зданию, украшенному старорежимной надписью «Кипяток».

А Гликерия-Надюшка пребывала в глубоком смятении. Никак, ну, никак не ожила она то, что с нею только что произошло. Столь неожиданным был приход Мартемьяна

Егоровича и совсем невероятным предложением пожить у него в доме. Маленькое её сердечко готово было выпорхнуть горлом на волю. А более всего её охватило чувство, которое женщины, иногда болтавшие полусшепотом друг с дружкой в бане, называли, посмеиваясь, хотелочкой. Мол, замучила меня, а мужик – кнур этакий отвернулся и захрапел, вина накушавшись. И, аха-ха-ха! «Срамотницы» - бывало, осадит их банщица тётка Полина Власьевна. А им и хрен по деревне! Конечно, ничего не повторяется, но вдруг ей вспомнились вечера в доме священника – самые светлые её дни. И лампа. И отец Гавриил в очках, спущенных на самый кончик носа, с книгой в руках. И ребята, слушающие – в который уж раз сказки Пушкина, и она с Богданчиком на руках, будто тоже слушающего чтение, и будто бы понимающего, о чём эти певучие слова: « Белка песенки поёт, и орешки всё грызёт. А орешки не простые, Всё скорлупки золотые, ядра – чистый изумруд...», Что такое изумруд, Гликерия понятия не имела, Но, видно, что-то совсем прекрасное – так распевно и загадочно выговаривал строки поэмы о. Гавриил. Богдан чувствовал мамино волнение. Он был почуткой мальчишечка, и многое улавливал какими-то ведомыми только ему одному путями. Сидел тихо, к ней прижавшись, и слушал, как шуршит за окном дождь да потрескивают, сгорая, дрова в топке, отдавая тепло воде в кубе, кран из которого был выведен наружу. И вдруг вздрогнул, дернулся, завращал головой. Что такое стряслось? Почти и ничего. Почти... Слух у Салтына звериный. Слышал то, что другие не слышали. Всё услышанное и всё унюханное запоминал раз и навсегда. Стоило милиционеру Кафтанову выйти на перрон и зацокать коваными каблуками, приближаясь к водогрейному домику, как он услышал это цоканье. За свою недолгую жизнь Салтын успел уяснить: надо бояться людей, которые так шагают. Казалось бы, откуда ему помнить шаги тех, кто увёл доброго дедушку, читавшего книги. А румынские солдаты... Те, что стучали прикладами винтовок и громко о чём-то галдели, когда рядом не было офицера. И другие – пришедшие им на смену в серо-зелёной одежде, говорившие отрывисто, словно пастух кнутом щёлкал. А он помнит и знает, что ничего хорошего это не сулит. И шерсть на его плохо

остриженной голове вздыбливается, а верхняя губа приподнимается в оскале и видны крепкие клыки.

Милиционер Кафтанов в дверь не стучал. Рванул ручку и шагнул в помещение, держа в руке револьвер. Если честно, Пал Петрович был готов к тому, что она скрылась со своим уродцем, а тут – на тебе: сидят голубки.

- Пошли!

- Куда?

- Со мной. Или не понимаешь? Дурочкой прикидываешься? Пошли, говорю!

О! Как пахла непонятная эта железка, которую человек в цокающих сапогах держал в руке, наставив на маму. Салтын ухватился за мамин подол.

- Пошли, пошли. И сопляка своего пучеглазого с собой забирай!

- Вот оно... настигло! Как ни старалась она отъехать в такую даль, где ни виноград, ни сливы не растут, схорониться, забыть прошлое и что бы её забыли, будто и не было ничего. ни её самое, ни вечно пьяного Мирчи, ни наодеколенного румына-офицера, ни повара немецкого, ни отчима-полицая, ничего... А прошлая жизнь догнала, вцепилась, как вцепляются в лодыжку прохожего, ничего такого не предполагающего, собаки, сорвавшиеся с привязи, – думала Гликерия. Хотя и не думала вовсе, а как-то мигом всё пронеслось в памяти, когда увидела она револьверное дуло, наставленное на неё.

Однажды, в январе это было, Фёдор, а с ним ещё двое полицаев привели, а вернее волоком притащили на площадь у примарни женщину. И бросили на снег. Собственно, на женщину она и не походила; На ногах какие-то опорки. Одета в изорванные стёганные штаны и стеганую же армейскую, также рваную телогрейку, к тому же всю спереди измазанную заскорузлой, морозом схваченной кровью. А кровь текла из разбитого, изуродованного лица. До того разбитого, что глаз правый выпал из глазницы и висел на какой-то кровавой жиле. И короткая стрижка тоже походила на мужскую. Руки у неё были скручены за спиной. Мирча, вышедший из примарни, стал изо всех сил стучать по железке,

висевшей у крыльца: бом-бом-бом. В селе знали: это призыв собираться и упаси бог не явиться. Появились немцы. Старший немец Кнут, в подпоясанном рыжем бараньем тулупе, но в форменной фуражке. Уши укрыты меховыми наушниками. Два других – в шинелишках и видно, что им холодно, как и солдатам, что переминались и стучали каблуком о каблук. Тут же и дядюшка Вилли в качестве переводчика.

- Кто ты?- Спросил немец у женщины, а Вилли перевёл
Женщина молчала

- Ты партизанка?

И опять молчание

- Мы её у амбара подстерегли, герр офицер. – Начал торопясь пояснять отчим Фёдор. - Она вроде как собиралась поджечь его, собиралась... Спротивлялась сука! Пришлось успокаивать. – И он показал на приклад винтовки, измазанный кровью, которым он, как видно, ударил её в лицо. Дядюшка Вилли сбивчиво, запинаясь, переводил сказанное. Всё-таки он немец не настоящий, а из колонистов, сильно обрусевший. Гликерия, пришла вместе с Вилли и с ужасом смотрела на происходящее.

- Ты была одна? – спросил немец

И опять в ответ молчание.

- Одна-одна, герр офицер. Она со стороны огородов подкралась. А мы тут как раз идём и смотрим – крадётся. Нас трое, герр офицер. Я – за старшего. Увидел и скомандовал. И мы её задержали. Так что, если бы не я... а там кто знает. Я же знаю, что там, в амбаре продовольствие для германской армии, что вы собираете. Хорошо, что я увидел! Имейте в виду!

Офицер, выслушав перевод, махнул рукой, прекращая словоизвержение Фёдора.

- Хайль, Гитлер! – Ответил на взмах руки Фёдор и пристукнул, как мог, каблуками

Тем временем народ подтягивался на площадь.

- У неё было оружие?

- Было-было, герр офицер. – Опять затараторил Фёдор. Наган у неё. Я отобрал. Он без патронов. Он вытащил револьвер из кармана полушубка, предъявляя его в качестве

доказательства. Я боялся, что она стрельнёт, а она не стрельнула, только целилась, на испуг брала сучка.

- Твое имя? – спросил немец, и дядюшка Вилли опять перевёл вопрос.

Связанная продолжала молчать.

- Это женщина?

- Женщина, женщина, герр офицер. Я штаны с неё спускал, когда её связывали.

Женщина при этих словах, дотоле лежавшая недвижно, зашевелилась и стала похожа на большую гусеницу.

- Ты знаешь, кто она? – Спросил офицер у Фёдора.

- Никак нет, герр офицер. Не успел разглядеть.

- Кто узнает партизанку, получит награду от германского командования!- Перевёл слова офицера повар

- Подходи по очереди! - Скомандовал Мирча. И сельчане покорно потянулись к распростёртой на снегу фигуре, с нескрываемым ужасом вглядываясь в лицо, обезображенное ударами винтовочного приклада. Кто-то вглядывался пристальнее, но отходил молча. Старая учительница перекрестилась. Приковылял и Мыкола Галаган. Совсем его доконала жизнь. Сутулился и шаркал ногами при ходьбе, чего ранее не наблюдали за старым, царской ещё выправки, солдатом.

- Смотри, старый хрен! – Засмеялся Фёдор. – Авось, признаешь. Ха-ха-ха!

Мыкола остановился, вгляделся в то, что некогда было женским лицом, а теперь являло собой сплошную рану.

- Узнал ха-ха-ха краснопузую?

- Ты, Федька, бил?

- Я ! А что? Аха-ха-ха...

Мыкола распрямил, сколько мог, согбенную спину, и, отхаркнувши, смачно плюнул в раскрасневшееся на морозе Федькино лицо.

- Ах, ты... - поперхнувшись собственным смехом, завопил Федька. Он замахнулся, было, чтобы прикладом ударить старика. Но тут грохнул выстрел, и Мыкола повалился на снег возле тела женщины. И снег под ним начал напитываться кровью. А Кнут спрятал пистолет в кобуру, висевшую на поясе.

- Шнель, сволочи, шнель! Завопил Федька очереди, обтирая вязаной рукавицей оплётанное лицо.

И опять очередь двинулась, на секунду задерживаясь уже у двух тел, лежащих на снегу. Параска задержалась чуть дольше, разглядывая женщину.

- Узнала? – грозно спросил Федор.

- Да вроде как ... Сильно ты её... нет..

Дошла очередь и до Гликерии. Она склонилась к лежащей на снегу женщине, которая уже, кажется, и признаков жизни не подавала. Но, оказывается, была ещё жива. Второй глаз заплыл от удара, но когда Гликерия склонилась, он вроде бы приоткрылся.

- Скажи нашим, я честно... - Услышала Гликерия еле слышный шелестящий звук...

- Что она сказала? – Завопил Фёдор. – Ну, говори! Ты узнала её?!

- Я не разобрала. Откуда мне её знать...

Узнала она её, узнала. Конечно же, узнала учительницу Гелю по родинке на шее под подбородком, сейчас почти залитую кровью...

Они вышли из водогрейной. Дождь продолжал сеять. И это был уже не дождь, а мелкая водяная пыль. Отчего все станционные фонари пребывали, будто в облаке.

- Не вздумай дергаться или бежать! – Предупредил Кафтанов. – Сразу пулю получишь. Поняла?

- За что? За что вы меня, товарищ Кафтанов? – Вскрикнула навзрыд Гликерия.

- Молчать! – Прикрикнул Кафтанов. Ему никак не хотелось привлекать чьё-либо внимание к аресту, хотя на перроне и так было пусто – дождь-то продолжался. Да и вообще, крика женского он побаивался – а всё Точила его виновата. Где-то, ещё за пределами станции требовательно рявкнул локомотив Литерного, извещая, что вот-вот минует он входную стрелку и промчится на проход, упреждая, чтобы никто не вздумал препятствовать его устремлению. Тут вдруг заголосил сын, которого Гликерия буквально тащила за руку. а он упирался

- Салтыбын! – закричал он, - Салтын! А-а-а-а!

- Заткни его! – Потребовал милиционер.

- Сына! Сыночек!

- А-а-а-а-!

Что-то чувствовал маленький безумец, не понимая, быть может, до конца, что происходит. Однако, чувствовал запах убийственной железки в руке Кафтанова и ощущал страх, исходящий от мамы.

- Заткни урода своего!

Салтын с неожиданной силой рванул руку, спрыгнул с платформы на первый путь и перебрался на второй.

- Салтыын! – закричал он, умоляюще, надвигающемуся из темноты сквозь марево дождя фонарю паровоза. – Салтыын!.

- Сыночек! – Рванулась, было за ним следом Гликерия. – Богдашечка! Стой!

- Стоять! – рывкнул Кафтанов. – Пристрелю, гадина!

А Салтын бежал навстречу паровозу, если можно назвать бегом его шкандыбание по шпалам. Он бежал на свет, и в его безумной голове клубилась и росла нелепая надежда на то, что там, за размытым световым лучом он, наконец, обретёт спасение себе и маме от доброго и всемогущего царя Салтана из сказки, которую читывал вечерами бородатый дедушка в очках, спущенных на самый кончик носа. Только его, Салтана он и помнил, к нему обращался, только его имя, покорёженное косным языком, связывало его с окружающим миром.

Машинист Литерного заметил нелепую, странно передвигавшуюся фигурку на пути слишком поздно. Даже сверхэкстренное торможение никак ни помогло бы избежать наезда. Состав тяжёлый: сорок вагонов. Тридцать – с каким-то секретным грузом, следующим под вооружённой охраной. А ещё девять – теплушки с зарешеченными окнами и также под охраной – стрелками на тормозных площадках. А десятый вагон – штабной. Впереди у маршрута ещё около полутора суток пути до одного несуществующего пока, но строящегося секретного города меж уральских теснин, где в последующие годы предстояло производить оружие на страх врагам Страны Советов. Паровоз заревел долгим, отчаянным гудком. Но ничего уже нельзя было поделать.

Ах, паровоз «ФД»! Красавец с Красной Звездой во лбу! Главный и самый мощный паровоз грузовой тяги страны. Он с ходу ударил бедного безумца своим метельником – решёткой, чем-то похожей на усы Генералиссимуса. Решётка призвана сметать с пути препятствия: неглубокие наносы снега, мелкий мусор. Машинисты иногда промеж собой называли его скотоотбойником – ибо, что только ни оказывается, порой, на пути мчащегося во весь опор локомотива. Так исчез с лица земли маленький уродец, появившийся на свет божий вопреки ухищрениям тётки Параски. Крещёный, имя христианское обретший, которым его называла только мама Гликерия, потому что для всех остальных он существовал под загадочным прозвищем Салтын. А имени такого ни у русских, ни у каких других не было, нет и, быть может, во веки веков не будет.

Минуло изрядное количество лет. Станция Горелый Ям по-прежнему значится на карте железнодорожных путей сообщения страны. Поезд «Барыга» отменён. Теперь здесь имеет короткую остановку электричка. Водонапорная башня стоит, но паровозы не ходят. Значит, и вода никому не нужна, хотя, по-прежнему, лучшей нет в округе. Работают здесь совсем другие люди, и никто не помнит Мартемьяна Егоровича, вечно кашляющего куряку-телеграфиста Мышкина, кассиршу Лядову и уж, тем паче, беженку Надюшку, обеспечивавшую проезжий люд кипятком. Тем более, самого здания, украшенного словом «КИПЯТОКЪ» давно нет и в помине. И сыночка её забыли. Кому он нужен, помнить его!

А милиционера Павла Петровича Кафтанова всё-таки немного, но помнят. Но в основном, из-за богатого по здешним меркам памятника на могиле с трагической надписью «Погиб при исполнении служебных обязанностей на боевом посту». Завалили его в два ножа урки-рецидивисты, вздумавшие напасть на почтовый вагон из-за денег. Не поостерёгся милиционер Кафтанов, хотя уже был подписан приказ о его переводе с повышением. Раз в год на Родительскую приезжает из области милиционер в высоких чинах: Тимофей Павлович Кафтанов. Идёт на могилу отца, убирает повыцветший

за год венок из искусственных цветов и устанавливает новый. Выпивает из металлической фляжки положенные сто граммов, предусмотрительно налитые порученцем. А потом пробирается в самый угол кладбища. Там, у покосившейся ограды есть малоприметный бугорок. Если вы его не знаете, то, пожалуй, и не заметите, а то и наступите на него. Но Тимофей Павлович знает, куда и к кому идёт. Из сумки, которую несёт следом порученец, достаётся булка хлеба. Отрезается горбушка. Следом открывается баночка, в которой лежит подтаявший брусок масла. Масло намазывается на горбушку, а следом посыпается сахарным песком из пакетика. Потом бутерброд кладёт на бугорок. Тимофей Павлович также выпивает ещё сто грамм из металлической фляжки. Оставшийся хлеб крошит и раскидывает на радость воробышкам. Порученец стоит чуть в сторонке и делает вид, что ему вся эта церемония вполне понятна. На самом деле, вовсе непонятна, но ни спрашивать же об этом начальство. Начальник молчит и еще на бугорок кладёт конфеты. Конфеты дорогие, шоколадные, в красивых завёртках. Салтын, которого всякий свой приезд поминает Тимофей Павлович, таких конфет при жизни и не видывал. А милицейскому генералу Кафтанову врачи сладкое употреблять не советуют.

2018-12-12